

ПУТИНА

Повесть

1.

Всю ночь над лесом и рекой небо звенело тонко и нежно — льдинкой в стакане, заблудившимся журавлем... Облака ползали туда-сюда, погромыхивали, огрызались. Лес стоял молча, тяжелый, сырой. Сонная трава шелестела: «Что? Что?». А небо кричало и пело, то притихало, будто во что-то вслушиваясь, то опять начинало метаться, полыхая зарницами, говорило, вскрикивало, трясло колокольцами, орало, потрясая кулаками; все слабее, слабее, а потом умолкло совсем и, посерев от бессонницы, утомленно потекло вниз, по ветвям и коре, под лопухи и папоротники, ближе к теплой спросонья, глуповатой земле, где трудно и слепо, будто замерзшие пальцы, шевелились уже, просыпаясь, корни деревьев. Речка послушала, вздохнула тихонько, замерла, послушала и побежала себе, забубнила по-своему, по-хозяйски расталкивая голыши. Прошуршал ветерок, ветви шевельнулись, стряхивая капель, целящимся глазом открылся на востоке рассвет, и опять все стихло. Потом земля густо запарила, туман окутал деревья и лег, придавив листву, зажимая ей шелестящий рот. Замер лес, тускло забренчала капель и утренней слезой побежала по стволам, вниз, вниз; речушка взбухла, хохотнула, прошлась по ивнякам, как погладила, побежала, завиляла в тумане, недовольно вскрикивая и бранясь, побежала, запинаясь о голыши, сворачивая, возвращаясь, бранясь, вырвалась из парного, белого леса и, широко вздохнув, вошла в залив, растекаясь, лентясь, засыпая. Залив наподдал ей волной: «Куда, шуш-ш-шера?» Из-за мыса в заливе выплыл пароход с высокой трубой, загудел и гудком пробил дыру в оцепеневшем воздухе. Туман со свистом втянулся в нее, разорвался, поплыл белыми облачками, закудрявился в синеве.

А из тумана возник Одноухий...

Он стоял у самой воды, под развесистым ивовым кустом, подняв тяжелую башку со свалывшейся бурой бородой на горле и черным пяточком носа водил из стороны в сторону, втягивая плывущие над рекой запахи. Над водой летели рваные клочья тумана, желтая вода закручивалась в водовороты, вспухая шапками грязной пены, несло щепу, лесной сор, сухие коровьи лепешки. Воздух был взбаламучен и пестр. Мычали коровы на ферме чуть выше по течению, по-утреннему хрипло, недовольно, взревывал движок на рыбзаводе, глох, опять принимался кашлять, стреляя надсадным, буравящим ухо выхлопом, глох, и в такт ему ругались мужские голоса. Перекликались доярки, и тоненько брнчало железо. Блуждающими токами возникали вдруг неведомо откуда занесенные голоса, прерываясь на полуслове, далекие шумы, и даже слышался вдруг над рекой трамвайный звонок, блуждающим призраком залетевший из далекого города. Голоса и шум возникали в плотном утреннем воздухе со всех сторон. Кто-то под самым носом у Одноухого вдруг сказал: «Саша», рассмеялся, и тут же застучали чьи-то каблуки по асфальту.

Медведь нервничал и то и дело крутил башкой, недоуменно порывивая. Голоса возникали со всех сторон, воздух раздражал Одноухого. Воздух был суетлив и неспокоен и пах железом, коровами, мазутом. Воздух был сломан и пах несусазицей. Эта земля опять сменила кожу, и он не узнавал ее. Казалось, он заблудился и пришел куда-то не туда незванным гостем. Все вокруг было опять чужое — тропинки легли по-другому, река сменила цвет, голоса, похаживая вокруг, кричали о подмене. Но речка все равно была его, потому он и пришел сюда, как приходил много лет подряд, каждую осень, когда шла из океана на нерест кета. Он был слишком стар, чтобы менять ее. И слишком упрям.

Неподалеку от обмыска, где стоял под ивой Одноухий, проснулись в налатке два рязанских браконьера, приехавших на Сахалин за икрой. В палатке вдруг заворочались, закашлялись, остренько запиликал включенный приемник, и один из браконьеров, пожилой, вылез наружу, позевывая. Он встал у реки и пустил в воду тугую струю, зверски выворачивая в зевке челюсть и почесывая свободной рукой затылок. Позевал, позевал, потом застегнулся и полез в палатку досыпать.

Солнце высунулось из-за леса, и длинные тени деревьев, ночные их призраки, спасаясь, прыгнули в реку, в холо-

док. А река текла, и мотыльки вычерчивали над ней кружевной узор. Медведь тронул воду лапой, отдернул ее, низко опустив нос, посмотрел на свое бегучее отражение, склонил голову набок, рывкнул на всякий случай и вошел в воду. Она зажурчала вокруг лап, приятно за холодило брюхо и пах, и Одноухий постоял, жмуря глаза и чуть оскалясь. Потом пошел потихоньку, и когда его оторвало от дна, задрав голову, поплыл, неуклюже, но сильно работая лапами. Выйдя на противоположный берег, он отряхнулся, превратившись на мгновение во взъерошенный шар, и, не спеша продравшись сквозь заросли кустарника, пошел меж деревьями по мхам и траве, иногда останавливаясь и обдирая со стволов плети дикого винограда. Он шел к болоту. И чем ближе к нему подходил, тем меньше ему попадалось следов и вытоптанной травы. Наконец следы исчезли совсем. Одноухий сделал широкую петлю, вломился в заросли лопухов и лег носом к следу, положив голову на лапы.

Он шел двое суток, Одноухий, — спустился с гор на густо заселенную равнину и шел ночами. Он очень боялся железной дороги и долго не решался перейти ее. Почти целый день скрывался на городской свалке, потому что город не обойти, а спрятаться было негде. И одичавшие собаки, которые жили на свалке стаями, ободряли его «штаны». Вот до чего он дошел, Одноухий, — какие-то шелудивые собаки гоняют его. И все-таки он добрался до речки, несмотря ни на что. Потому что речка была его. Глупый, старый, упрямый медведь...

Он чувствовал сильную боль где-то под черепом. Когда он шел, замечать ее было некогда, но сейчас она мучила его и Одноухий тихонько рычал. Он лежал, и рычание вибрировало в клыках, колебля травинки. Потом боль прошла, и он забыл о ней, уснув. Сон его был беспокойен и тяжел. Снова собаки грызли ему зад и он бежал от них, панически оскальзываясь на грудах мусора, как деревенщина от городских хулиганов, и снова летел на него по синим, освещенным луной рельсам сумасшедший глаз тепловоза. Шерсть на загривке поднималась дыбом, медведь грозно рычал во сне, а то вдруг принимался жалобно, пощенячьи поскуливать. Чутким сторожем ходило на голове здоровое ухо и вздрагивал, словно силясь повернуться, обрубок второго.

Солнце наконец оторвалось от земли, повисело, будто примериваясь, стоит ли начинать еще один день, и двину-

лось вверх. Успокоенный воздух выровнялся, расслоился, птицы перелетели с дерева на дерево и их бестолковый гвалт выстраивался в причудливые лабиринты. Зажужжали шмели, муравьи зашуршали в траве, двигаясь куда-то длинной колонной, и монотонный гул жизни волнами поплыл по лесу.

По тропинке, ведущей из города, тихонько вышел к речке старый кореец с большим, сплетенным из бересты коробом за плечами. Он остановился, увидев медвежий след, а ноги его продолжали мелко семенить на месте, словно старик бежал мелкой трусцой. Опиравшиеся на палку узловатые, коричневые от загара и сока растений руки мелко дрожали. На нем были синие, из грубой материи брюки, мокрые до колен от росы, сандалии, брезентовая куртка и соломенная, конусом, шляпа. Он подождал, пока руки и ноги успокоятся, потом медленно, в два приема, снял короб и присел на корточки. Осмотрел отпечаток медвежьей лапы, вдавленной в сырую землю у воды, и потрогал его пальцами, почти не чувствуя землю из-за мозолей. Потом сдвинул шляпу на затылок и, осмотрев противоположный берег, нашел место, где медведь вышел из воды, — в серебряно-дымчатой от росы стене зарослей темнело большое пятно. Глаза старика слились в узкие щелочки, верхняя губа в седых редких волосках приподнялась, обнажив пожелтевшие от чая и табака редкие зубы.

«Он опять пришел, — подумал кореец, — он такой же старый, как я, и все равно молодой, потому что старый медведь—это не то что старый человек». Он достал из-за пазухи длинную, с маленьким чубуком трубочку, пачку папирос и спички. Выкрошил в мундштук половину папиросы, примял большим пальцем, чиркнул спичкой, вобрав худые щеки, затянулся и пыхнул белым вонючим дымком. Стайка комаров шарахнулась по кустам. Старик опять пыхнул, выпустив белый клуб, и большим пальцем примял рдеющий табак в мундштуке.

Он сидел на корточках и смотрел на реку, не видя ее. Потом встал, отложил трубку и стал собирать сушняк. Движения его были скупыми и выверенными, будто бы он точно вычислил, какое количество их ему осталось еще сделать, и теперь экономил. Собрал охапку хвороста, срезал в кустах рогульки, воткнул их в землю, поджег сушняк, достал из короба железную банку с проволочной дужкой, зачерпнул воды из реки, ладонью отогнав сор с

поверхности, и повесил банку над костром. Когда вода закипела, бросил в банку щепоть заварки, пригоршню красных ягод лимонника, снял банку с огня и накрыл ее тряпицей. Подождав, пока отвар настоится, помешал в банке палочкой и, обернув ее тряпицей, стал прихлебывать, обжигаясь и дуя.

В лесу звонко хлопнул бич, замычали коровы, и из затрещавших, раздавшихся в стороны кустов вышел белесый, в рыжих подпалинах бык. Медвежий запах беспокоил его, красные, налитые кровью глаза блуждали. Бык заревел, раздувая ноздри и пригнув голову, копытом стал рыть землю, сдирая траву. В кустах заколыхались вскинутые коровьи головы с влажными, сизо затуманенными зрачками. Чую коров позади, бык заревел сильнее и замотал башкой, бодая воздух. Коровенка с отвислым брюхом сбежала к воде и стала пить. Бык ударил ее в бок и, возбужденный собственной удачей, вдруг полез на нее. Она рванулась и побежала от него, задрав хвост. Бык неловко упал, зацепив рогом землю, вскочил и опять бросился к воде, бодаясь и хлеща хвостом по бокам.

Из кустов выехал на лошади пастух в распахнутой телогрейке. Рыжая, с лисьей мордой собачонка, что вилась в ногах лошади, увидев сидящего на корточках корейца, ошетинулась и стремглав, захлебываясь лаем и морща кожу на носу, кинулась на него. Но старик сидел неподвижно. Собачонка, с разбегу притормозив, оглянулась на хозяина и повиляла хвостом, словно спрашивая, — достаточно ли она усердна. Потом, тускло зевнув, клацнула зубами, поймала на лету муху, облизнулась, порычала для порядка на коров и завиляла по кустам, ткнувшись носом в землю.

— Здорово, Пак! — крикнул пастух, блестя молодыми зубами на шелушащемся от загара конопатом лице. — Много травы насобирал?

Кореец растянул губы, держа в руках банку и часто-часто закивал, будто кланяясь.

— Медведь объявился, зараза! — сказал пастух и, откинув полу телогрейки, выдернул из пачки мятую папиросу. — У самого загона шлялся, понял, да? Обнаглел! Ну да не на того напал, я его достану. А что, спорим, достану?! — закричал он опять почти обиженно, вдруг посчитав, что Пак ему не верит и поэтому улыбается. — Я его живого из шкуры вытряхну, слышь, а шкуру тебе отдам!

Пак все сидел на корточках, растянув губы и часто-

часто кивал. Пастуха он немного побаивался, потому что не знал, чего ждать от него в следующую минуту. Вдруг он рассердится и прогонит старика из леса, чтобы тот не рвал траву, предназначенную для коров... Пак не мог понять, зачем пастух хочет убить медведя. Разве у него нет еды? И разве медведь кому-нибудь помешал? Старый кореец всегда старался быть приветливей с людьми, которых опасался. И, не щадя шеи, кивал пастуху, со всем соглашаясь.

День обещал быть хорошим, ясным, настроение у пастуха было отличное и ему хотелось что-нибудь совершить, неважно для кого, только бы все знали, какое у него большое, щедрое сердце и широкая душа. И сейчас, неожиданно придумав подарить медвежью шкуру старику, который, по слабости своей, только и мог что щипать травку под деревьями, что по его, пастуха, мнению было бесполезным и даже постыдным для мужчины занятием, он сам себе обрадовался и стал еще великодушнее. Ему жгуче захотелось бросить коров, немедленно отыскать и застрелить медведя.

Он сплюнул, раскрутил бич и, привстав на стремянах, звонко огрел быка по спине, а потом, оскалившись от нахлынувшего азарта, еще раз. Коровы заревели, и, ломая кусты, стадо двинулось дальше. Пастух возбужденно погонял их и все щелкал бичом, точно погоняя медлительное время, потому что мысленно уже сидел в засаде, стрелял, бежал, кричал и потом рассказывал дояркам про пережитые страхи, выставив на обозрение еще не засохшую, сочащуюся сукровицей шкуру. Он был нетерпелив, ему хотелось делать добро, хотя он толком не представлял, что же оно такое. Он страстно хотел делать добро и совать под нос тем лентяям, которые провожают его утомленным мудростью взглядом, не желая это добро хватать. Он готов был воевать за добро немедленно, сейчас, хотя и был простой пастух, два года как пришедший из армии.

«Что ж, — подумал кореец, когда стадо скрылось, — может быть, после смерти медведь станет деревом, а я стану медведем и пастух меня убьет. Всегда кто-нибудь кому-нибудь мешает, и чем медведь лучше дерева, — а ведь их рубят тысячами и никому их не жаль, даже когда деревья плачут». И еще он подумал — слышал ли кто-нибудь плач дерева? Ведь деревья только шелестят, а иногда скрипят и раскачиваются.

Он посидел еще, докурил трубочку, разглядывая темную дыру в зарослях на противоположном берегу, в кото-

рую ушел медведь, сделавшись невидимым, потом выплеснул остатки отвара в прогоревший костер, положил банку в короб, предварительно завернув ее в тряпицу, просунул руки в брезентовые лямки, встал, засеменил ногами на месте и, дернувшись, как машина, у которой включили скорость, двинулся по лесу, время от времени останавливаясь и вороша палкой траву. Мысли его были просты и незаметны, как воздух, и так же незаметно текли, не тревожа его. Он шел по колено в траве, словно бы плыл, а над ним шатром колыхалась листва, перевитая лианами, вспархивали птицы, что-то шуршало в траве.

Старик думал: кем может стать медведь после смерти? Может быть, человеком? А может, он совершил какой-нибудь грех и за это станет рыбой и будет плавать, немо разевая рот? Старик верил в перевоплощения. Его дети, обвившиеся вокруг его жизни, как лианы вокруг дряхлого ствола, смеялись над ним, и он им не перечил, потому что весь свет был для них, а он теперь чаще присматривался к земле, чем к небу. Он соглашался с ними, а про себя думал: «Если одно не превращается в другое, откуда же тогда все взялось?».

Он шел вдоль берега, следуя поворотам реки, и у поваленного тополя на той стороне, где крутился водоворот, кружа по воде хлопья пены и мусора, увидел палатку. На тополе сидел молодой парень, чистил картошку и бросал в воду кожуру. Чуть поодаль дымил костерок и висела на кустах нейлоновая сеть с забытым в ячеее челноком. Парень что-то насвистывал, поглядывая на синий проем неба над рекой, в котором плыли тугощекие, смеющиеся облака. Картошка вылетала из-под его ловких пальцев одна за другой и быстро шлепалась в котелок, будто стесняясь белой своей голизны. Старик долго стоял, разглядывая палатку, костер и парня, потом свернул от реки в лес. А лес переговаривался, шумел, гудел себе, не замечая его, потому что старик двигался медленно и молчал.

Метрах в двухстах от палатки браконьеров забормотал мотор, взвыл, преодолевая какую-то преграду, и из кустов высунулась вишневая морда «Жигулей». Захлопали дверцы, и из машины вышли четверо — две девушки и два парня. Они стояли каждый сам по себе, разглядывая реку и берег. Потом один из парней — коренастый, широкогрудый, с черной бородой и по-пиратски подвязанными платком волосами, в тельняшке, прошелся по полянке, задрал голову на кроны деревьев, хлопнул ладонью нетолстую

березку, постоял, что-то прикидывая, вернулся к машине, вытащил из багажника топор, походил вокруг деревца, поплевал на ладони и, широко размахнувшись, разворачивая широкий корпус, с потягом, умело всадил топор под самый комель. Береза дрогнула кроной, оторвалась сухая ветка и с шорохом рассыпалась в живых ветвях. Опять сверкнул топор — и белый кусок древесной плоти отскочил от ствола. Подруб полукругом опоясал ствол, крона вздрагивала все чаще, потом в теле дерева что-то звонко лопнуло, и двумя ударами чернобородый умело положил березу в прогал меж кустами. Потом схватил комель и, натужась, потащил в сторону, а напарник его, сев за руль, подал машину ближе к воде и стал выбрасывать на траву яркие мешки и сумки. Вдвоем они быстро поставили палатку, вбили в землю треножник для котла, расчистили полянку от мелких кустиков и охапками стали таскать в палатку траву.

Девушки тем временем спустились ближе к воде, сбросив босоножки и тихонько о чем-то переговаривались, посмеиваясь.

— Купаться хочется! — сказала одна, потянувшись и ладонями встряхнув за спиной густые каштановые волосы. — Как ты думаешь, есть тут местечко, где можно обойтись без лишних церемоний? Я как назло купальник не взяла, а водичка те-о-оп-лая...

— Здесь вода, наверно, грязная и комары. — Рыжая востроносенькая девушка посмотрела на подругу округленными глазами, прижав к губам кулачок. — Да и мальчики...

— Мальчики не будут в обиде. А мне здесь нравится, честно.

— Девки-и! — заорал им бородач, весело скалясь. — Вы чего там секретничаете? Идите помогать!

— Ты знаешь, Женька прямо какой-то бешеный, — сказала темноволосая подруге, посматривая на бородача и посмеиваясь. — Если уж он вырвался на природу, ему надо ночевать в стогу, рубить деревья и костры жечь до неба. Прямо необузданный какой-то! Я от него бегала сначала, думаю — какой дикарь. Ему все сразу вынь да положи, он и сюда меня, думаешь, для чего затащил? Но вот ничего ему не будет, не дождется! — Темноволосая тихонько рассмеялась, прижав к губам палец и любовно оглаживая глазами фигуру бородача.

— Они вместе работают? — спросила рыженькая.

— Мишка у Женьки начальник, — сказала темноволосая. Прищелкнув языком, она многозначительно посмотрела на подругу и опять прыснула в кулак. — Так что, Олечка, не упускай шанс!

— Рая, ну ты прям...

— А что тут такого? Ты же не хочешь до старости оставаться старой девой!

— Ну Рай!..

— Ладно, ладно. Какие мы правильные! — Она потянулась, натянув грудью легкую ткань. — А по правде, этот Миша просто зануда. Бука какой-то. Будь ему сорок лет, а то корчит из себя не понять что, да еще смотрит, будто ты ему червонец должна. Не люблю таких.

— Да нет, он хороший парень, — протестующе округлила глаза рыженькая Оля. — Просто неразговорчивый, у него, наверно, жизнь тяжелая.

— Уже заметила? — усмехнулась темноволосая. — Ну что ж, может, и хороший парень, но дурак, а ты дурочка. Вот будет парочка!

Рыженькая Оля смотрела на текущую воду, по-детски круглыми, готовыми улыбнуться и удивиться глазками и морщила губы, о чем-то смутно думая.

— Ой, смотри — комар в воду попал! — сказала она и рассмеялась.

В воде бежало ее отражение, и от него было трудно оторвать взгляд.

Пожилого браконьера разбудила машина. Он еще полежал, поворочался на жесткой подстилке, пытаясь вернуть сон, позевал недовольно, покряхтел — бока отлежал, надо ж так, — потом поднялся, откинул марлевый полог, высунул из палатки небритую, опухшую со сна физиономию, огляделся и вылез. Молодой его напарник помещивал в котелке варево, насвистывая что-то. Рядом с ним на пне потрескивал, завывая на посаженных, отсыревших батареях, перевязанный клейкой синей лентой приемник, и обрывки какой-то безалаберной песенки скакали из него, раздражали. Над костром на колышках сушились резиновые сапоги молодого и грязные, в фиолетовых разводах, байковые портянки. Сон был плохой и настроение у пожилого было скверное, брюзгливое. Он уже начал было ворчать, чего это портянки рядом со жратвой, но вдруг подумал, что портянки портянками, а вот машина — кто б это мог быть?..

Он прошел к воде, встал на колени, долго, старательно плескался, откашливался, отхаркивался, черпая воду ладонью, лил на шею, скреб за шевелящимися ушами, полоскал рот. Потом насухо вытерся полотенцем и еще постоял, подышал, ожидая, когда откатит окончательно сонная одурь. У костра налил в кружку чаю, горячего, густого — язык разом связало, опять потянуло ругаться: экономить надо, экономить, а не транжирить! Постоял, прихлебывая из кружки, поглядывая на «связчика». Слышал тот машину или нет? Да разве же они что слышат, разве что видят? Они и впрямь думают, что жизнь им, как цацка. Вот и у этого глаза телячьи, хоть здоровый парень, а не помощник, нет, не помощник. Сюда бы мужика здорового, матерого, который на все вприщур смотрит, прикидывая, что оно, как и почем. Но, с другой стороны, с матерым дело иметь — ухо остро держать, а этот что? — ломит, улыбается и ломит, сила в нем кипит, расчета нет, копейку жать ему заподло. Дурачок ведь, дурачок, ну да он и его прищучит когда-нибудь...

— Приезжал кто что ли? — осторожно спросил пожилой. — Что машина-то гудела?

— А никто не приезжал, приснилось тебе, — беспечно ответил напарник.

Он все насвистывал — загорелый, крепкошей, с покатыми сильными плечами, мешал ложкой суп из концентрата, время от времени по-детски облизывая ее, посматривал себе на облака, улыбался, и видно было, как легко и просто ему живется. Нравилось ему тут, на Сахалине. Пожилой улыбнулся углами губ, завидуя, но тут вспомнил о главном и опять нахмурился.

Рыба не шла, хотя подошел уже срок. И его точило опасение, что, может, кета теперь здесь вовсе и не идет. Года три назад он приезжал сюда, на речку, с опытным человеком из местных, дальним родичем. Тогда они взяли за какую-нибудь неделю килограммов по двадцать икры, да по бочонку брюшков засолили, да балыка по пуду навялили. Разом столько денег, сколько тогда выручить удалось, он за эти три года больше в руках не держал. Всей работе сроку было — неделя! И на этот раз хотел он порыбачить, уже и пропуска им с соседом родич устроил, а сам вдруг в последнюю минуту отбил телеграмму, что компании составить не может. Отозвали родича из отпуска, и сейчас он плывет себе в Австралию за бараниной и в ус не дует.

Три года назад было проще, — народа меньше шлялось, фермы не было и рыбзавода этого паскудного не было. Медведи шатались, это точно. По ночам они с родичем боялись спать, хоть и ружье было. За три года перемен произошло много, а главное — кета, может, и не заходит теперь в эту речку, может удобрениями ее потравили или еще какую гадость слили. Рыба, говорят, этого не любит и больше в ту речку не заходит. Пожилой злился. Злился на рыбу, на родича своего, на молодого веселого напарника, которому все нипочем, на все плевать. А деньги теперь как вернуть, которые ухайдаканы на сеть, на билеты? С кого их спросишь, с рыбы что ли? У-у-у, паскудная тварь, не он над ней начальник, он бы ее бичом гнал, чтоб не шлялась где попало!

Он посидел у костра, попил чайку, все больше раздражаясь. Не утерпев, сорвался, наказав молодому доваривать, да не пересолить, и пошел через лес, к болоту, где он видел свеженаезженную колею, и если где ездить, то там. Шел быстро и раздраженно, прикидывая, а что если, не дай бог, инспекция? Под ногами пружинило, выдавливалась вода. Обочь, в кочке, заметил кустик голубики, присел, пропустив веточки сквозь растопыренные пальцы, как совком, сняв с десятков сизых, белым тающим налетом обметанных ягод, кинув в рот, пожевал, морщась, чувствуя на языке кисловатую мякоть, снял еще, подумав про себя, как бы не подцепить чего, — ягода в полный сок еще не вошла, кислит, начнешь по кустам бегать — какая там рыбалка! Но тянуло неудержимо и кустик обобрал дочиста. Сделал еще шаг, другой — опять кустик, а ягодки уже не круглые, а длинные, вытянутые, хмельные по вкусу, дурманные. У него даже глаза сузились от удовольствия, будто в детстве, когда по ночам, торопливо, вздрагивая от каждого шороха, обирал в соседском саду малину. Руки от сока посинели, пальцы липнут, а все рвут, сыплют в рот полные горсти, а глаза уж следующий куст ищут.

Так, на коленях, и выполз на марь. И там обомлел... Меж кочками, куда ни глянь, плещут на ветерке, парусят платья, голоса перекликаются, бидончики позвякивают, а чуть в стороне стоит, уткнувшись тупой мордой в куст, веселенький красный автобус. Городские за ягодой понаехали! Он посмотрел, посмотрел, ошалело вскинув белесую бровь, и зло сплюнул. Черт их принес! Теперь попробуй, потайсь. Солнце сильнее припечет, — как есть на речку повалят, сеть на кусте увидят, палатку. Да дураком надо

быть, чтоб не понять, что двое мужиков на речке в путину делают. И заложат, заложат, суки! Попробуй сейчас разберись, кто из них какую форму носит. Т-т-туристы! На природу, значит, потянуло, не сидится дома-то тунеядцам, — вишь, вода у них есть, не носить, не таскать, огородов не держат... Понаехали на дармовщинку, ягодки захотелось!

Эх, будь его воля, он бы эти ягодники не разбазаривал, а настоящим хозяевам отдавал бы, у него не пошлялись бы, не потоптались. Хотелось в свисток засвистеть, чтоб кинулись испуганно в милицию на предмет протокола. Государственное добро ведь разворовывают! В домашнем своем саду сколько приходится горб гнуть, сколько пота пролить, да еще потом на базаре спекулянтом обзовут, дескать, непомерную цену дерешь. Знали б они, что и как достается! Но тут вот... Ведь не сеет никто, не удобряет, не поливает, не ухаживает, а оно растет, и хоть ты тресни. Господи, да если ты вправду есть, что ж ты такое творишь, а? Что ж ты хулиганишь? Ведь не дай бог такое в Рязань, — сколько людей без куска хлеба осталось бы, сколько последнего удовольствия на копейку обсчитать лишилось бы, ай-я-яй...

«Что это я порю-то, — вдруг удивился он про себя, — что несу-то несусветное? Тьфу, ты, пропасть, совсем с этой рыбой ума лишился. Чего расстраиваться-то?». Так ведь расстроишься! Сколько добра кругом — и куда его все девать, ведь пропадает, пропадает! Может, в газетку написать, а? Предложить, чтоб никого в лес просто так не пускали, а продавали бы лицензии — от трех рублей до десяти. Если три рубля заплатил, — можешь себе свободно ходить, воздухом дышать, но не больше, если пять, к примеру, — цветок там сорвать или два, ну и так далее. Он даже остановился, вдумываясь в сочиненное, и сам себе удивляясь. Вот голова-то, варит! Надо, непременно написать надо. Как просьбу трудящегося. К трудящемуся, небось, прислушаются пачкуны эти, которые не сеют, не пахут, а только языком болтают. Народ у нас сознательный, ради общей пользы, надо будет, — сам себя выпорет, а тут такое дело, миллионное! Надо, надо написать. А там, глядишь, и о нем вспомнят, может, и портретик где напечатают, вроде как изобретателя-рационализатора из простых.... Тут он себя одернул, — ишь размечтался, старый дуралей, ишь куда понесло! И все-таки приятно было. На душе от этих несолидных вроде бы мечтаний поотмякло

что-то. И настроение после дурного, маятного сна получилось. Процентом на двадцать получилось — это точно.

И тут, едва носом не ткнувшись, запнулся вдруг, чувствуя горячо толкнувшуюся в виски кровь. Рядом со старым, дуплистым тополем, на мягкой, перетрушенной земле муравейника — медвежий след... Замер, настороженно оглянулся, присел на корточки. Мысль, сорвавшись, лихорадочно заскакала. «Ружье где?.. Сегодня же почистить и чтоб всегда под рукой было, мало ли... Жаканы?.. Взял, точно взял... На рыбу пришел, не иначе — он лучше рыб-инспектора знает... Значит, не ушла рыба, не ушла!.. Добыть бы шкуру... А ну как своей лишиться?.. А при случае можно и рискнуть... Стрихнину бы насыпать, рыбку какую выловить, завонять, да со стрихнином и подбросить, да где его теперь возьмешь?..».

В ветвях над головой что-то зашелестело, зашуршало, посыпались сухие веточки, кусочки коры. Разом оцепенев, чувствуя предательское бурчание, вжался плешивым затылком в ослабевшие плечи, задрал пористый утиный носик, мутные глаза тоскливо расширились, ожидая, что выглянет вот сейчас страшная оскаленная морда. Листва на дереве колыхалась, солнце высверкивало, пробежало в тенях, слепило. На нижней ветке сидел, наклонив голову, дрозд и выпуклыми черными бусинками глаз изумленно рассматривал сидящего под деревом на корточках человека. «Так это ж... это ж в животе у меня бурчит... Ф-ф-ф-у ты, зараза!». Прелый сук, брошенный ослепшей от злости рукой, заскакал по ветвям, соря трухой, дрозд снялся и фр-р-р! — часто-часто махая, унесся куда-то в подвижные лабиринты зеленых ветвей.

2.

Одноухий проснулся, чувствуя тупую, тяжелую злость оттого, что сон кончился и теперь надо вставать и идти. Идти, таиться, ловить запахи, добывать пищу и опять спать и тревожиться во сне. Все, что когда-то было легко, естественно и незаметно, теперь требовало усилий и поэтому раздражало. Мучившая его боль в затылке почти прошла и из одной острой, колющей точки где-то за ухом растеклась по всему черепу, застелив его плотно и вязко, отчего лапы и голова казались чужими. В мутных, заки-

792305
сающих глазах предметы текли, и это казалось продолжением сна. Тощий рыжий комар завел над ухом занудную песню, уселся на нос, изогнувшись, погрузил жало и сладостно завибрировал, раздуваясь от крови. Одноухий мотнул головой и шумно выдохнул через ноздри. Комара смело горячей воздушной струей, смяло слюдяные чешуйки крылышек и влепило в пучок сухой травы. Он панически забился, тоненько заныл, перебирая длинными сухими ногами. Одноухий еще раз шумно вздохнул, опустил красную пасть с желтыми клыками, потянулся, растопыривая когти, и принялся вылизывать кожу меж ними, нежную и черную.

Воспаленный глаз солнца висел высоко над землей и горячее марево разрушало воздух, колыхало его волной, выгибало куполами. Он был бесцветен и горяч, над низинками и рекой прогибался и делался белесым, тяжелым, а дальше, у моря, ощутимо синел, и синева эта на западе казалась очень плотной, словно бы там, на побережье, воздух стоял стеной и по этой стене медленно и невесомо передвигались чайки. Воздух над морем был продолжением воды. А здесь сильно пахло нагретой землей, осокой, иван-чаем, трава стлалась по кочковатой мари, желтея кое-где сухими желтоватыми прядями, и короткая жизнь насекомых яростно кипела в ней. Марь была бесконечной, и бесконечным было колыхание травы на ней. И далеко, у самого горизонта, за черными, обугленными спичками горелых лиственниц синей полоской виднелось море. Когда-то тут был лес. Лес сгорел, земля заросла кочкой, трава скрыла пожарище и освободившееся от леса пространство стало марью.

Одноухий вылизал лапы, шевельнул ухом, потом потянулся, скусил цветок и стал жевать его, просто так, от скуки. Воздух плыл, дрожал, колебался. Трава бежала к морю, согнув вершинки в неимоверном, до дрожи, напряжении. Мимолетные блестящие волны возникали в ней и пропадали. И потом вдруг опять возникали и блестящий зеленый вал катил через кочку. Редкие стволы горельника двигались вместе с травой, медленно перемещались, подрагивая. Все плыло и двигалось куда-то неизвестно зачем. Широкие лопухи, под которыми лежал Одноухий, колыхались, и пятна света бродили вокруг него по земле. Он прожевал цветок, замер, заворчал и стал яростно чесаться. Потом еще раз зевнул, встал, отряхнувшись, и вышел из лопухов на солнце, на какое-то мгновение ощутив собст-

венную удушливую вонь, которую тут же перекрыло теплым пахучим воздухом, летучим и легким. На ольхе заполошилась сорока, все утро ожидавшая, когда Одноухий проснется. Она забила крыльями, затрясла хвостом и разразилась заполошным стрекотаньем, перелетая с ветки на ветку. Что ей было нужно от него? Одноухий понюхал ветер и, качая башкой вверх-вниз, по краю мари пошел в обход леса. Кочка была высокой, и местами он совсем скрывался в траве, вытягивая наверх шею и принюхиваясь.

Вдруг резко и сладостно запахло, и шерсть на Одноухом встала дыбом. Из-за кустика, метрах в двадцати, выбежал мальчишка и, увидев медведя, с размаху сел и заулыбался. Одноухий, ворча, двинулся к нему, и тут мальчишка заорал что есть мочи, надув измазанные ягодным соком щеки и покраснев. Одноухий сел, ощерясь и развернувшись, валко побежал в лес, потом припустил быстрее, прыжками, продолжая оглядываться, а пацан орал благим матом, пуская пузыри и утирая глаза грязным кулаком. Потом испуганно смолк, поднялся и, всхлипывая, запинаясь, придерживая короткие штанишки с лямками через плечо, побежал к березкам на опушке, откуда слышался уже встревоженный женский голос.

Одноухий пересек свой след, залез в кусты и лежал, вслушиваясь и все еще нервно ворча. Погони не было. Он вылез из кустов и пошел без всякой определенной цели, просто так, то в одну сторону, то в другую. Съел пару сыроежек, нашел муравейник и разорил его, попетляв, опять вышел на марь и долго бродил меж кочек, объедая с кустиков голубику. Где-то на другом конце мари перекликались человеческие голоса, но разглядеть его в высокой траве было невозможно, и он старался не приближаться. В сущности, людей он не боялся — они не сделали ему ничего плохого. Так уж получилось, может быть, просто повезло. Он чувствовал, что люди в чем-то подобны ему, Одноухому — всему заключенному в нем, а значит и всему живому. Но они жили в ладах с миром, который он не понимал. В ладах с грохочущим, лишенным всякой жизни металлом, который тем не менее жил и двигался, что было похоже на какое-то сумасшествие. Одноухий не мог понять, как так может быть, не хотел и не смог бы понять.

Жизнь его была проста, любовь и ненависть его были просты, он никогда ни о чем не жалел, всегда ходил куда хочется, всегда ходил прямо и путал след только тогда, когда за ним гнались. Если был сыт, — спал, если голо-

ден, — искал пищу. Все текло, таяло, пропадало и возникало вновь, прорастало, как молодая трава после сошедшего снега. Времени не существовало, только день да ночь, весна, осень, лето, зима, в каком угодно порядке, не нужно никаких названий, все понятно само собой, — когда рдеет кленовый лист и в небе вытягиваются строчки улетающих журавлиных клиньев, когда клонит в сон, а загривок тяжелеет от жира. Он не знал, как давно живет на свете и сколько еще будет жить, памяти не было, вечность позади, день ли, — только опыт, знание троп, мест, но и опыт не имеет значения, когда все меняется на глазах и надо раз за разом привыкать к чему-то новому. Казалось, он пришел ниоткуда и его тропе нет конца. Это было глубже знания, это жило в нем с рождения, просто и естественно, как инстинкты и чувство пространства. Конечно, он боялся боли и огня и еще многих вещей, ненавидел кислый запах железа, но все это была боязнь кожи и мышц, ведь вся его жизнь на том и стояла — питать их и беречь, ради этого он был устроен, и ничего ему больше не объясняли, пустили на свет и — все тут. Он был живым существом, медведем, и выполнял свою задачу, не зная о ней, никогда не задумываясь, почему он ее должен выполнять — именно эту. Конечно, были вещи, которые выполнять ее мешали, и он должен был преодолевать их. Он был создан таким, а не другим, как камень у дороги или вода в реке. Загадка жизни не касалась его, может быть, именно в этом было счастье, но он и этого не умел никогда понять, потому что то, что делалось с ним и вокруг него, как раз и было естественным состоянием всего живого, пока ему не мешали.

Он лег меж высокими кочками, вытянув лапы и прижмутив глаза. Трава нависала сверху, смыкаясь над ним реденьким зеленым шатром. Было темно, душно, а брюхо холодила выступившая подо мхом вода. Комары, слетевшись на живое тепло, облепили Одноухого серой шевелящейся шубой. Он помаргивал, здоровое ухо то обвисало, вяло подрагивая краями, то резко выпрямлялось и двигалось, улавливая разнородные шумы и посылая Одноухому сигналы: «Все спокойно, все спокойно, это лягушка шелестит в траве, а те, что кричат, — кричат далеко...». А он, не обращая на шумы внимания, тянулся носом к синему колодцу неба меж кочками. Небо было чистое, высокое, синее. Изредка проплывали маленькие, похожие на клочки пены облака. Он не знал, откуда они берутся, но облачка

нравились ему, Одноухий жмурился, моргал и тянулся к ним носом, будто хотел понюхать облако. Может быть, ему казалось, что небо — это очень большая река, в которой плавают большие рыбы.

Ухо настороженно застыло, потом кольнуло мозг тоненькой иголкой тревоги, и от мозга ушел сигнал к надпочечникам. Они впрыснули в кровь небольшую дозу адреналина, сжавшего разом набухшие мышцы нервной энергией, а желудок ослаб, готовясь в случае необходимости извергнуть свое содержимое, чтобы Одноухий, случись что, не волочил брюхо, а был поджарым, резким и быстрым. На загривке зашевелилась шерсть, и по спине забежали мурашки, волоски на ней вставали дыбом, как бы увеличивая Одноухого в объеме на страх врагам. И, чувствуя эту тревожную быструю работу тела, приготовившегося себя защищать, он нехотя опустил нос и прислушался.

Где-то близко шуршало, тоненько вызванивало на жесткой осоке легкое железо, слышались голоса. Потом громко раскатился женский смех, и Одноухий, вздрогнув, задвигал лапами, подбирая их под себя на случай прыжка, завозился и замер, укрытый травой. По его приподнятому задку прокатилась судорога.

Рыжая востроносенькая девушка с худым усатым парнем прошли метрах в пяти от него, не заметив. В руках у девушки был котелок, легкое платье раздувалось и парусило, когда она прыгала через кочки. Парень отмахивался от комаров рубахой. Они прошли, скоро Одноухий перестал слышать их голоса и успокоился. Опала шерсть, дыхание стало ровным и шумным. Он лежал в сером мешке из комаров и сквозь покачивающиеся травинки лениво смотрел вверх. Над кочками, где он лежал, будто дым от костра, поднимался клубом густой, вонючий запах псины, невидимый для постороннего. Но сорока, мельтешащая над марью то туда, то сюда и бестолково верещащая, видела такие столбы повсюду над марью и лесом, большие и маленькие — всюду чадила медленно сжигавшая себя жизнь...

...Это мечущееся, пестрое женское платье, слишком яркое в унылом однообразии плоского болота с хлюпающей под ногами водой и монотонным комариным гудом. Спасительная магия вещей, осколок человеческой пестроты. Какая красота может быть в этих чахлых кустиках, в обго-

релых стволах на горизонте? Унылый покой и запустение. Вот от этой тоски прошла история человеческого бегства в города свой крестный путь, обособливаясь от вечного непостоянства погоды, от чавкающей утробы земли, от которой до головной боли несет могилой, гниением. Ее еще надо выстлат асфальтом тротуаров, покрыть крышей, упорядочить и внести гармонию в ее неряшливую леность, заставить ее расцвести садами и оранжереями, чтобы навек ушел с нее желтый оттенок вечной дряхлости. Кажется, он уже видит контуры легчайших зданий из алюминия и стекла, сады с мелодичным пением птиц, подстриженные газоны, мелодично журчащие ручейки и тенистые аллеи с искусственными озерами. А может, — вспаханное поле с тракторами и ровными, как по нитке вытянутыми, оросительными или осушительными каналами. Огромное поле и солдатские шеренги белых кочанов капусты на нем... Или ровная гладь колыхающейся ржи?

Он моделировал лежащее перед ним пространство, кочковато-волнистое, отсекая квадраты, перестраивая, перекраивая по своей прихоти, но для этой игры было слишком жарко. Горячий полдневный ветер, казалось, насквозь пронзал худую, с темным курчавым волосом грудь, делая тело невесомым, сухим. Он стоял, обмахиваясь рубахой, прищуренными глазами оглядывая землю, ее болотца, кочки, полегшие травы, чахлые деревца, которым не хватает опоры на ходящей ходуном болотной почве. Земля... Если она — мать, то это стыд за нее, неловкую в своей хилой немоги, за нее, которая могла бы быть щедрой и доброй, передавая своим детям беззаботность и щедрость, а дарит лишь извечную печаль, заключенную в скудном пейзаже, словно напоминая об усилиях, которые надо приложить, чтобы одеть ее нормально, вытряхнуть из рубища, чтобы...

Мысль ускользнула и растворилась в сложной ассоциации. Он усмехнулся. Вот еще одно доказательство вреда красоты. А может быть, слабости мозга перед красотой?..

Ольга уселась в кочки, из травы выглядывал только рыжий затылок с задорным, стянутым резинкой хвостом. Ее руки проворно сновали по кустикам, обсыпанным фиолетовыми каплями голубики. Она обернулась, посмотрела на него из-под ладони и, блеснув мелкими зубами в улыбке, крикнула:

— Да хватит лентяйничать, Миша! Я без тебя уже полкотелка набрала.

— Иду, иду.

Он с удивлением услышал свой хрипловатый голос, казавшийся чужим. Жара накатывалась волнами, мягко давила голову. Чужой голос, чужие руки, чужие слова. Чужие ли? Слова, которые можно и не говорить. О чем это? Да, да, когда тебя несет конвейер, нельзя говорить иначе... Да о чем это, черт возьми!

Он присел рядом с ней на корточки, чувствуя голым плечом испарину на ее руке, которая шустро сновала по веточкам, время от времени задевая его. Вот девушка, вполне понятная по своим чувствам, мыслям, намерениям, которую можно рассчитать наперед, разложить по полочкам и перестроить даже, но душа у нее обуглена, вытоптана, скована собственной правильностью, у нее нет сил поддаться естественному обману любви, не направив его в специально отведенное русло. Вот сейчас схватить ее и опрокинуть на траву, навзничь, под душное покрывало солнца, — поймет ли она этот эллинский жест? Поймет ли присущее человеку стремление освободить любовь от цепей вынужденной сдержанности и ханжества, которые даже здесь, в безлюдье, держат куда крепче, чем самые настоящие цепи?..

И он хотел бы так поступить, ради того хотя бы, чтобы доказать себе самому, что он способен, не скован, — нет, что он носит оковы добровольно и способен их сбросить. Но ведь и эта вечная проклятая двойственность, неспособность к бездумному поступку, доброму ли, злему — не есть ли это куда худшее рабство?... Наверно, она поняла бы, потому что нет ничего заразительнее и убедительнее свободы, но он на это не способен, а в общем, это чушь, блажь. Просто-напросто он из тех, кого будто бы с детства, с самых поленок готовят в эталоны безгрешности и правильности во всем — в словах, поступках и мыслях. Потому что он должен стоять над людьми, пусть и невысоко, направлять их движение, и сотни пристрастных взглядов должны пройти по нему, не зацепившись, — это одна из многих потерь, о которых можно было бы жалеть, не оплачивайся они куда более высокой ценой, властью. Но цена эта становится явной лишь на людях, а здесь, в пустоте, когда сняты приводные ремни, приводимые в движение энергией твоего слова, взгляда, жеста, ты и есть всего лишь кусок холодного металла, не привыкший решать для себя, потому что для тебя как будто все уже решено.

Он привалился спиной к кочке, прикрыл глаза, чувствуя

на веках горячие пятки солнца. Задремал.

Оля поглядывала на него, сдерживаясь, чтобы не прыснуть: уж очень смешно было его бледное худое лицо с синеватыми, почти прозрачными веками и жесткими усищами. Впалые щеки, большой горбатый нос, аккуратно подстриженные волосы. Сколько ему лет, интересно? На вид — около тридцати, совсем старик. Она думала, будет кто-нибудь помоложе. Можно ли с ним целоваться? Хи-хи — такой нос! Ритка говорила, что он какая-то шишка. Недаром он такой серьезный и, наверно, плохо спит: под глазами круги. Такого хочется пожалеть, приласкать, ведь совсем заморенный. Но ничего лишнего не позволять, ни-ни! Но что же он? Спит?

Легкая травинка прошла по усам, тихонько ткнулась в ноздрю, защекотала. Он открыл глаза, услышал сдавленный смех и увидел пунцовую щеку отвернувшейся Олечки, ее снующие руки. Беззаботное существо с гладкой, чуть тронутой загаром кожей. Стройненькое. Смешливое. Городской зверек с отштампованным набором слов, мыслей, ситуаций. Но так ли это плохо? В конце концов, штампы ничего не опошляют, как принято об этом думать. Они — код, облегчающий общение; при видимой одинаковости слов, пузырящихся на губах бездумно и почти автоматически, как световые сигналы идущего на посадку самолета, изнанка у каждого своя. Нужно слушать эту белиберду, которую она бормочет про артистов, телевизор, танцульки и свою парикмахерскую, но еще и вслушиваться в оттенки, присматриваться к глазам. Что она говорит, прикусив зубами ягодку, истекающую фиолетовым соком, чему смеется? Ведь это игра! Два токующих глухаря на полянке среди сосен. Раздутые зобы, распущенные веерами хвосты. Журавль, беспокойно бегающий вокруг самки. Осенний наряд оленихи, грациозная поступь... Уметь забыть себя (это Гегель), забыть себя и в слиянии обрести себя иного. Но это невозможно, потому что есть еще и другой — тот, что внутри, с трезвыми, неспособными поддаться опьянению глазами. Дьявол или та самая совершенная личность, умеющая учитывать каждую копейку потерь и прибыли? Тот, кто высчитывает все возможные варианты, осторожно прикидывая их, с поправкой на возможные неурядицы. Счетная машина души-робота, в которую всадили программу возможного развития и возможного чувствования. Иначе и быть не может. Если все время задавливать самого себя, резать по живому ради абстрактных, не

зависящих от собственной сути идеалов, променять себя самого ради вшивоты этого самого благополучия, то есть возможности не беспокоиться о хлебе насущном, — то иначе не может быть; рано или поздно взамен всего, чем жертвуешь, возникает сухой алгоритм, который ставит под сомнение все, кроме самого себя, все выворачивает наизнанку...

— Как не стыдно днем спать! — Она встала на колени, близко нагибаясь над ним. В смешливо сощуренных глазах — быстро мелькнувшие испуганно-любопытные блики.

— Очень жарко. — Он сухо улыбнулся, рубахой стер со лба пот. — Спокойно, тихо.

Глаза... Глаза всегда обнажены. Как это моралисты не додумались до этого? Ведь сначала — глаза, а уж потом руки, губы и все остальное. Вот глаза этой девушки, немного испуганные, но вместе с тем и упрямые в достижении самой ей непонятной пока цели. Скажи ей сейчас, что ее глаза говорят о ней куда откровеннее, чем можно сказать словами, она, пожалуй, не поняла бы, а то бы еще и рассердилась. Они говорят — да, я все знаю, я знаю, что я есть и для чего я, я этому рада, потому что мое назначение точно соответствует тому, как я создана, и мне это будет радостно, и я заранее радуюсь, зная, что рано или поздно все будет именно так. Только не надо ничего говорить, потому что разговоры совсем ни к чему, они только путают, их не всегда поймешь, а все должно быть само собой, все должно быть постепенно, как бывает у всех, но это будет мое и это поможет мне жить так же легко и просто, как живут те, кого я знаю. Это моя лучшая пора, мне еще нечему огорчаться и нечего вспоминать, все еще только начинается, потому-то я и радуюсь...

— У тебя соринка на губах.

— Сотри! — Она подалась вперед губами, шутливо сжимая их в трубочку. Если он не совсем дурак, сейчас он ее поцелует. Потом даст волю рукам, — кругом-то никого нет, чего ему бояться? А она его оттолкнет и убежит. Потом начнется их роман. Он будет водить ее в кино, угощать мороженым, дарить цветы и целовать на прощанье в подъезде. Месяца через четыре они поженятся. Сначала им будет трудно, но потом они получают квартиру, четырехкомнатную. У них будет четверо детей: два мальчика и две девочки, мальчики в него, а девочки в нее. Иногда они будут ссориться. Иногда он будет гулять со своими друзьями и она будет легонько бранить его. Они будут любить

друг друга — спокойно, тихо и регулярно. Может быть, она когда-нибудь изменит ему, из любопытства. Он будет отдавать ей все деньги, до копейки, а она будет вести дом, смотреть за детьми и даже в магазин ему не позволит ходить — все сама. Они будут тихо стареть, а их дети вырастут, поступят в институты, обзаведутся семьями, и у них будут внуки. И еще...

Она не успела додумать, потому что близко ощутила сухой жар мужского тела, и вдруг испугалась. «Ой, мамочка!». Казалось, там, внутри, у него все выгорело, дотлевали угли, он пустой. Она ощутила безграничную тоску этой пустоты и еще ощутила, по тому, как он к ней прикоснулся, что он как слепой на людной улице — вот-вот упадет и водит руками, отыскивая, за что бы ухватиться. «Мамочка, мама!» Ей захотелось самой обнять его, обхватить покрепче, потому что он был как мертвый, как тяжелобольной, она чувствовала это, непонятно как, и ей казалось, что этот человек на ее глазах тает, уходит в небытие и нужно поскорее забрать его в себя, отнять у земли, которая тоже женщина. Она испуганно ощутила, что ей, быть может, уготовано совсем другое — не брать себе на радость, но вечно жертвовать, страдая и мучась. Что она, как богородица, способна зачать безгрешно, но для этого ей надо забыть самое себя и слышать только то, что говорят в ней древними голосами милосердие, жертвенность и любовь. Она страшно перепугалась, ей вовсе не хотелось быть ни иконой, ни опорой для калек и брать на себя человеческое несчастье, не в силах ему помочь. Но она все так же стояла на коленях, закрыв глаза и ощущая старчески бессильные, равнодушные прикосновения, а вместе с тем — благодарные, и это-то и было страшно.

Она еще ждала, когда он наконец что-нибудь себе позволит, чтобы оттолкнуть его и избавиться от невыносимого ощущения — ей возжигают лампадку, тогда как она живая и хочет иного. Он должен себе позволить что-нибудь, потому что так бывало всегда. После танцев, в кино на заднем ряду, на вечеринках, в телефонной будке, в подъезде, во сне... Но он ничего себе не позволяет, этот Миша, и его нельзя оттолкнуть. Но она все же отталкивает его и тут же пугается, отвернувшись, тычется лицом в ладони, и ей хочется реветь, не видеть его больше. Чтоб он сгинул, пропал!

Она слышит сзади шорох — он встал и уходит. Она стоит на коленях, вокруг нее, насколько глаз хватает, сте-

лется зеленая пустыня болота с бегучей травой, с расплавленным солнцем, а скоро зима, скоро выпадет снег и прикроет траву... И в голову лезет разное несусветное — она вдруг видит, как он идет по пороше босиком, а кругом все та же пустота, чахлые, присыпанные снегом кустики, острые обгорелые деревья, ее умок мечется загнанной мышкой, ничего не может понять, жалобно попискивает, тычась то туда, то сюда, стараясь спрятаться, забиться в укромное тихое местечко, где его ничто не потревожит. А сама она уже знает, что ей надо делать, как жить, она даже знает, что будет жить именно так, и уже готова разревется над своей несчастной долей, но тут, спохватившись, вскакивает и бежит за худощавым мужчиной, который, ссутулившись, идет по мари, и кричит:

— Миша! Ты что, обиделся, да? Миша, да подожди же!

3.

Гибкий длиннохвостый зверек с остистой коричневой шерсткой выскользнул из-под растущего над водой тальникового куста, где была нора, и столбиком встал на берегу, подолгу рассматривая предметы выпуклыми темными глазами, в которых двумя свечечками дрожали отраженные водой блики солнца.

Нутрия...

Она посмотрела на воду, близко нагибаясь к ней и видя отражение своей скуластой, усатой мордочки, как бы отмечаясь перед рекой — вот я пришла, имей меня в виду, — и вдруг прыгнула, войдя в воду без всплеска. Только гибкий лысеющий хвост чуть слышно хлопнул, как хлопает колеблемая ветром веточка, касаясь воды.

Она плыла, распластавшись тельцем и шевеля плоским, мощным веслом хвоста. Холодная немая полутьма колыхалась вокруг, и вдруг наверху, застыл бегучий солнечный блик, возникала громадная фантастическая фигура — то жук-плавунец пересекал реку. А нутрия все плыла, шевеля усами и плотно прижав к туловищу передние лапки, а хвост извивался за ней.

Стайка рыбьей мелочи стрельнула во все стороны, и нутрия, дернувшись вправо-влево за их уносящимся просверком, заложила в воде вираж, круто загнула хвост и прошла над самым дном, разглядев в корягах на дне, занесенных песком и опутанных водорослями, желтоватый

блеск жестяной банки с опасными, острыми изломами откинутой крышки. Потом дернулась влево, и через мгновение возникли над ней в зеленоватой воде очертания огромного тополя, выполосканного рекой до белизны. Она всплыла под ним, глотнула воздуха, услышала человеческие голоса и опять нырнула. Темной хвостатой тенью мелькнула на песчаном дне омутка и, уйдя в глухую тень ветвей, свисающих над водой, высунула на поверхность мордочку. Огляделась, прислушалась и, цепляясь коготками за землю и корни, изгибая дугой спину, колотя хвостом, вспрыгнула на обрывистый берег и там опять встала столбиком, прижав к груди передние лапки и низко свесив мокрые усы.

И вот тут она увидела рыбу. Почти метровая кетина, высверкивая под заходящим солнцем серебряным панцирем чешуи, ворочалась в воде у берега, пытаясь подняться против течения. Она била хвостом, пыталась нырнуть, но всплывала, разевая рот, переворачивалась к небу, с которого безжалостно наблюдало за ее агонией солнце, ставшее к вечеру опять похожим на глаз, жемчужно мерцающим брюхом, и течение сносило ее назад, на ветви тальника. Она билась, поднимая фонтаны брызг, швыряла себя вперед, соря в воде красными, прозрачными пузырьками икры, проплывала метров пять, но силы иссякали и она опять замирала в воде поленом. Глаза ее застывали, течение несло назад, ее переворачивало, и белое брюхо всплывало над водой. Рот ее широко разевался, течение наталкивало на полошущиеся в воде ветви, выгибая их под ее тяжестью, и вода начинала шуметь, перехлестывая через рыбу, а она лежала, разинув рот и выпучив глаза, шевелила плавниками. Потом начинала биться, вода закипала пеной, и она опять плыла против течения, изгибаясь на один бок дугой и что есть силы толкаясь хвостом, соря икрой, билась, толкалась, пока глаза ее не мертвели и ее не переворачивало вверх брюхом.

Стоящая столбиком нутрия, прижав к груди лапки и подавшись вперед, следила за рыбой, не моргая, влага плыла в ее глазах сверху вниз, и казалось, что глаза слезятся. Нутрия следила за каждым движением кеты. Она никогда не решилась бы напасть на такую большую рыбину, но сейчас чувствовала, что рыба умирает, слабеет, умертвляя себя каждым броском, перерывы между которыми становились все длиннее, все дольше белело из-под воды брюхо и все короче становились броски. И вдруг она, в очеред-

ной раз снесенная к кустам, забилась отчаянно, — так, что затрепыхались, стряхивая сор и насекомых, тальниковые ветви. И затихла, поводя хвостом и время от времени всплескивая.

И тогда нутрия нырнула. Она проплыла мимо рыбы, не глядя на нее и как бы не подозревая о ее существовании, а потом, резко вильнув хвостом, развернулась и пронеслась над самым затылком рыбы, но та только едва повела хвостом, словно была выше всего, что затевала тут нутрия, и не желала обращать на это внимание. Нутрия пронеслась над ней и услышала, как тяжело и скрипуче ходят ее жабры. Один плавник был полуоторван и из-под жаберной крышки лохмотьями свисало что-то скомканное, красное, игольчатое.

Нутрия вынырнула, глотнула воздуха и увидела, что рыба опускается на дно. Она нырнула следом, закружила вокруг, потом кинулась стрелой, прокусила рыбе голову и, задрав хвост, растопылив лапы, взмыла вверх, к поверхности, а рыба страшно забила хвостом и колесом заходила в воде, поднимая со дна муть, и вдруг затихла. Нутрия подплыла к ней, покружилась, схватила зубами твердую рыбью голову, наддала хвостом, всплыла и тут же, захлебнувшись, фыркнула — громадная тяжесть потянула вниз. Она перехватила кетину за спинной плавник и, изгибаясь всем телом, сильно и часто колотя хвостом, поднимая маленькую волну, выволокла на берег голову рыбы. Потом, упершись лапами, урча, прогрызла голову и стала вылизывать мозг.

Рыба мелко-мелко затрепыхала хвостом и надув брюхо, извергла из себя красную струйку икры. Изогнувшись, шлепнула хвостом по земле, встала дугой, и красный ручеек порскнул в текущую воду. Икринки заскакали красными шариками, подхваченные течением.

Нутрия припала к земле и стала слизывать пролившуюся икру, искоса следя за кетой. А та перевернулась, опять хлопнула хвостом, перевернулась еще раз и забилась на земле. Нутрия отпрыгнула, по-кошачьи выгнув спинку, но рыба затихла, и она мягко обошла ее, повернув к ней голову. Большое серебристое тело вытянулось, чешуя на нем постепенно тускнела, глаза подернулись свинцом. У самой головы белел заросший шрам, оставленный зубами нерпы, которая обычно караулит кету у устьев рек. А по всему рыбьему телу, пахнущему слизью, рекой, илом, шли красные, в облетевших чешуйках перетяжки — набухшие кро-

вяные швы, оставленные тонкой леской сетей.

Нутрия еще раз обошла рыбу и встала столбиком. В глазах ее что-то отразилось. Что-то шмыгнуло туда-сюда, согнувшись, прячась. Деревья шевельнул южак и донес голос прибоя, шум волны. Какая-то смутная опасность заставила нутрию зашипеть. Она услышала запах резины, грохот конвейера. Увидела меркнувший, тусклый свет в мутных от соли окошках барака на мертвом болоте, услышала запах тысяч мертвых рыб, и что-то подняло ее аккуратную шерстку дыбом. Она потянула рыбу в кусты, блестя выпуклым испуганным глазом и шипя.

Солнце лежало за лесом раскаленным оковышем, и от него в облаках лежали два узких розовых крыла.

Уехал красный автобус, ныряя на ухабах дороги.

Небо на западе потемнело, с востока поднялась фиолетовая громада и поползла выше и выше, постепенно разливаясь, становясь ночью.

Одноухий вышел из укрытия и встал один на пустой мари, вытянув к морю нос. Шерсть на его загривке шевелило ветром, раздувало, он видел, как постепенно белеет далекая волна.

Трава шелестела, стлалась и кланялась фиолетовой стене на востоке. Черные стволы горельника остановились, и долгий вздох слышался оттуда.

Солнце зашло.

Пастух гнал стадо на ферму. Сытые коровы шли медленно и валко, отмахивая хвостами комаров, мычали, шлепая в болотной грязи раздвоенными копытами, роняли лепешки навоза. Собачонка трусила в ногах лошади, на которой ехал пастух, умильно поглядывая на колыхающийся в стремени сапог хозяина. Пастух посвистывал, хлопал бичом, ругался, бил каблуками в раздутые лошадиные бока, дергал повод. Лошадь, опустив голову и устало полуприкрыв глаза, шлепала себя и шлепала, не глядя на дорогу, которую знала давным-давно.

Одноухий проводил стадо глазами. Какая-то заполошенная пичуга, спохватившись, сорвалась и понеслась над марью, падая, опять взмывая, торопясь, вскрикивая «Спать пора, спать пора!». Облетела марь и понеслась дальше, возвещая конец дня. Большая красная луна тихонько всплыла над лесом, зависла и поплыла, поплыла. Одноухий вошел в реку и встал темным бугром, подняв нос к бегущей в воде лунной дорожке.

...Снова тишина приходит в мир. Она ходит тихонько, все ходит вокруг, шурша листьями и смотрит на костер. Это знакомая гостья. Сколько раз я видел и слышал ее, нам можно бы уже и не прятаться, а она такая—все ходит вокруг, в темноте, как лисичка, шуршит. Все машет своим рыжим хвостом, направо, налево, а леса вспыхивают, прогорая, и пепел первых метелей уже выбелил тундру. А где-то на перевалах уже выпал снег и упал на зеленую траву и зеленые листья, они пригнулись к земле и несут его зябкую тяжесть, как вину, — ведь и деревьям не след забывать о пределе и временах года. Но, может быть, стоит жить только ради того, чтобы увидеть снег на зеленой траве и то, как она никнет. Ведь и трава прорастает сквозь снег, когда пригреет по-весеннему солнышко, первый ночной холод убивает ее, но каково же ей вырваться из-под снежной подушки к свету — раньше времени, ради гибели! К ней сбегаются белки и лисы, еноты и дикие кабаны и говорят ей: «Спасибо тебе, трава! Ты не побоялась, и мы славим тебя. Ведь все временно и даже солнце уходит от нас, зная свое время, а ты пришла к нам раньше, как подарок, спасибо тебе, трава! Мы жуем твою робкую, пахнущую летом жизнь и вспоминаем зеленые луга. Спасибо тебе, трава! Нас рвали тигры, пули, собаки, мы устали волочить себя по снежной целине и прокладывать белые борозды, в которые не упадет зерно, но мы помнили о тебе. Спасибо тебе, трава!».

...Спасибо тебе, лимонник! Я увидел тебя когда-то на реке Стеклянухе под Шкотово, в огне и золоте осенней тайги. Твоя красная гроздь свисала с ветки ильма и была похожа на люстру, как маяк, что светит для всех, кто бродит без тропы с наивной надеждой услышать утренний рев марала, когда в кустах еще клубится туман, осыпаясь на лицо и одежду мелкой водяной влагой, а гулкое эхо летит от одного склона распадка к другому и потом долго отзывается в туманной мгле далеким, рассеянным отголоском. Я увидел над головой твою ярко-красную гроздь, и свет твой проник в меня и зажег слабенький боязливый огонек, но я был голоден, зол, съеден комарами и не знал, сколько мне еще идти, сколько костров жечь. Мой нож сверкнул, руки сорвали со ствола лиану и высыпали в кипящий над огнем котелок две полные пригоршни красных ягод. Ты отдал мне свою силу, растворенную в вяжущем языке густом отваре, и я пошел дальше, унося в рюкзаке свернутую в жгут лиану, и видел, как ночью на перекатах прыгает в бледно-

голубой, пенистой, шумливой, быстрой воде форель. Спасибо, тебе, лимонник!..

...Спасибо тебе, белый камчатский сокол! Ты появился в секторе зенитного стрельбища, над простреленным, изувеченным осколками лесом, когда над нами прогрохотал старый штурмовик, волоча на тресе за собой похожий на бумажного змея конус — учебную цель. Еще палили пушки, приседая и раздувая над собой шары коричневой пыли. Ты вдруг появился в небе, в косом развороте на крыло. Хвост «конуса» еще неся, со свистом разрезая воздух, а ты ошалело взмыл, замер на крыльях на мгновение и панически замельтешил ими, уносясь прочь, но рядом с тобой сверкнула фосфорическая игла трассирующего снаряда, тебя отшвырнуло разорванным воздухом, ты сложил крылья, камнем упал к опаленной земле, и, словно бы испугавшись ее порохового запаха, свечкой вошел в зенит, и опять упал и взмыл, заметался, кувыркаясь. А на стрельбище, в перерывах между залпами, возникала вдруг веселая ругань, на запыленных лицах засверкали зубы. Ты метался в дырявом, простреленном воздухе, кувыркаясь с крыла на крыло, выделявая фигуры высшего пилотажа, а пушки грохотали. Я сам сидел в кресле наводчика, вел спаренными стволами и ловил в коллиматор твой обалдело мечущийся белый комочек, давил сапогом на лязгающую педаль спуска, и красные, раскаленные стальные шмели, под грохот сыплющихся пустых гильз, чаханье пушки и вонь сгоревшего пороха выжигали под тобой воздух. Ты кувыркаясь с крыла на крыло, потеряв под собой опору, а потом с отчаянной решимостью спикировал, сложив крылья и у самой земли выправившись, растопорщив все перья, белой стрелой, молнией понесся прочь, едва не задевая верхушки деревьев. У пушек вышел учебный комплект, солдаты снимали шлемы, смеялись, незло перебраниваясь, оседала рыжая пыль, сухо потрескивала накаленная сталь. Ты мчался над лесом сломя голову, и только одна заклинившаяся установка все еще палила в синее небо, к ней бежали офицеры. Ты мчался, как самоубийца, хищно подогнутым клювом тараня воздух, и беззлобная солдатская ругань летела за тобой следом. Ведь я не знал тогда, сколько вас осталось, и не знал, что твой прилет — это дерзкий, отчаянный вызов человеку, тебя истребившему...

...Спасибо тебе, нерпа! Ты ныряла у входа в Авачинскую губу, зеленая океанская волна поднимала тебя, а мимо шла тяжелая громада корабля, и на всех его откры-

тых палубах спали моряки, подложив под голову вешмешки, и надо было переступать через раскинутые ноги в суконных клешах и грубых ботинках, чтобы добраться к борту. А внизу, по роскошным салонам в зеркалах и медных завитушках, по лестницам, ковры на которых были прижаты начищенными медными прутьями, толпами ходили за редкими девушками солдаты, неуклюже пошучивая. Нерпа, ты ныряла у самых скал, в тот час, когда берега темнеют и на обрывах зажигаются огоньки погранзастав, когда в Петропавловске-Камчатском уже ночь и улицы режут подножье сопки красным пунктиром зажженных фонарей, а белые, будто сахаром осыпанные верхушки вулканов еще розовы — закат еще полыхает на них, розовые снежные конусы горят над городом, рдеют. Скрипят краны в бессонном порту, в ресторане «Авача» дым стоит коромыслом и пляшут рыбаки с Сероглазки, их лица полыхают, опаленные тем же огнем, что и конусы нависающих над городом вулканов, а у Трех братьев — трех каменных пальцев, в которые бьет океанская волна, — ныряет нерпа и глаза ее изумленно круглы. Спасибо тебе нерпа!..

...Спасибо тебе, большая щука! Ты родилась в кофейной гуще великой реки, три года ты гуляла у берегов, разглядывая в темной толще воды добычу. Ты кинулась на пескаря, который бился в воде, странным образом не убегая, ты налетела из коричневой гущи реки-дракона, пасть твоя хлопнула, и ты тут же развернулась, блуждая жадными глазами. Но тут каленое острие японского крючка вошло тебе под язык и ты забила, выделяя кренделя, и твое белое брюхо заходило в воде колесом. Мимо тебя проплыла стая верхоглядов, потом солидно прошла большая калуга и рыба мелочь заблестела вокруг, простреливая коричневую воду, словно бы все поняли, что ты на привязи и тебя не надо бояться. И, сжав длинный рот, образумившись, ты понеслась встречь течению, чувствуя упругий натяг и видя в темной воде стремительно перемещающийся за тобой тугой и светлый бич толстой леси. Ты бросилась назад, потом растопырила плавники, тормозя; и из твоего разинутого рта выпал язык, подсеченный жалом крючка. Ты сопротивлялась до последнего, а когда чиркнула брюхом о скользкую гальку, заворочалась, забила хвостом, но тут твоя длинная голова выползла на сухие камешки, солнце ослепило тебя, и ты не сразу поняла, что сорвавшийся крючок летит в воздухе и вслед за ним блескучей петлей опадает ослабшая лесья. Ты шевельнула плав-

никами, стягивая себя с жестких, жгучих, сухих камней, уползая назад в прохладу воды, но тут рядом с тобой что-то грохнуло, подняв фонтаны брызг и песка, какой-то жесткий обруч прошел по твоему скользкому телу. Соскользнув, ты заворочалась, и тут я отшвырнул тебя от воды и ты взлетела, перевернувшись, а я упал на тебя и целовал тебя в скользкую хищную морду, пытаюсь удержать яростные, расшвыривающие гальку рывки...

...Спасибо тебе, дикая утка! Ты летела в плотном и синем воздухе, который холодил поджатые перепонки на лапках, и видела под собой соевые поля, каналы, озера и болотца, заросшие осокой. Ты видела, как летящая клиномстая изгибается дугой, пересекая границу меж предземным воздухом и чернотой холодного ночного неба, в котором уже разгораются звезды. Ты совсем не чувствовала воздуха, он был по-вечернему плотен, и тебе казалось, что ты можешь ходить по нему, когда там, внизу, на земле, где уже начали падать с тихим стуком желуди в дубовых лесах и зажелтели скошенные поля, вдруг что-то огненно сверкнуло. А потом ты услышала грохочущий, приглушенный высотой звук, горячие рассеянные дробинки застучали по твердым перьям на крыльях твоих соседок, а тебя подбросило, смяло, перевернуло, и ты сразу вдруг поняла, что воздух не тверд и плотен, что он весь состоит из углов, ты обломила о них крылья и умерла, ударившись о землю. Спасибо тебе и прости. Может быть, душа твоя попадет в рай, и если бы ты смогла выбирать, что бы ты выбрала? Торфяные болота тундры, желтый горизонт на закате и мхи, покрытые желто-красной россыпью морошки под карликовыми березками? А может быть, Африку? Каким ты увидела рай, когда умирала? Спасибо тебе и прости...

4.

И вот ночь тронулась, прозвенел бубенец. Тихонько зашуршала в темных деревьях листва, словно бы под тысячью крадущихся ног, и кажется, что это ночные стада текут бесконечным потоком, все быстрее, быстрее. И вот уже воздух дрожит от гула черных копыт и какая-то стремительная блескучая масса стремительно несется над землей, огибая светлый круг на берегу реки, где горит костер, бренчит гитара и хохочут мужские и женские голоса за раскладным парусиновым столиком, уставленным банками, кружками.

Вот из-за столика поднялся бородач и, почесав волосатую грудь в вырезе тельняшки, сделал шаг в обход костра, приостановился, вдруг хищно подобрался и прыжком сиганул через пламя. Красный язык огня, запоздало взлетев, тронул резиновые подошвы кед.

Женский визг:

— Женька, ты спятил, а если бы упал?!

— Он — как лама!

— А что это — лама?

— Лама — это пума.

— Ой, Олька, не могу прям, ха-ха-ха!

— Ну что ты смеешься, дурочка?

В темноте — стук топора, басовито хохочет бородач и, крутясь, летят к костру полешки.

— Ой, а что это за морда в кустах?

— Где?

— Вон, вон!

— Лошадь, братцы!

В кустах, рядом с капотом «Жигулей» — полусонная лошадиная морда, гнедая спина с раздутыми боками и неуверенно улыбающаяся на разгул физиономия пастуха. Из темноты с охапкой поленьев и топором вышел бородач, с грохотом ссыпал поленья, отряхнул руки, прищурился:

— О-о-о! Это кто в гости к нам? Кто на лошади маячит?

— Да я вот мимо еду, дай, думаю, заеду...

— А ты че это с ружьем, охотишься на кого?

— Да не... Вы уж извините, если помешал. Я вижу — люди, костер, а тут, между прочим, медведь ходит. Думаю, дай заеду. Я тут пастухом работаю, в совхозе.

— Пастушок, пастушок!

— Райка, не конфузь человека.

— Слезай с коня, камрад, ставь рядом с «Жигулями». Девки, покормите человека!

— Да я...

— Ты мужик бодрый, конопатый, ты это брось! Садись, ешь.

— А вы из города что ли?

— Какой он милый и пятнистый...

— Да ну...

— Чего — ну?

— Я говорю — медведь тут ходит, так вы поосторожней...

— А мы медведя не боимся, мы сами, как медведи. Ну

чего косишься, чего краснеешь? У тебя рожа шире вокзальных часов, а ты застеснялся двух баб. Дайте лошади бензина, а пастуху овса!

— Ха-ха-ха!

— Какой он милый, милый и конопатый, как пасхальное яичко!

А ночь уже несется, как дикий табун, черная пыль поднялась непроглядным облаком, и с листвы осыпается гул копыт, дикое ржанье и храп, красная луна мчится погонщиком, волосяным арканом присвистнет ветер, и в предсмертном всхлипе захлебнется чья-то душа. Вперед, скорее, ночь мчится за убегающим солнцем, орда вскинула блестящие жала сабель, и пошло гулять звездное мерцание отточенной стали!

... — Ну, наелись? А сейчас — купаться! Быстро, всем.

— Вода холодная, сумасшедший!

— Женька, мы же утонем! Женька!..

— Никаких!

В реке плеск, свист, хохот. Старый рязанский плут сидит в кустах с ружьем, наблюдает. У-у-у, мокрохвостые, черт их принес! И не прогонишь — вмиг накостыляют. Очень даже свободно накостыляют. Луна висит тяжело и низко, давит, тревожит. Пастух вылез из речки синий, пляскал зубами у костра и куда-то мотнулся на лошади. Русалки плещутся и визжат. Рязанский плут суется ближе, ерзает, глядя на облитые красноватым лунным светом молодые тела. Любопытно ему.

...И в кровавых отсветах костра чудится, что у девок не ноги, а мерцающие чешуей хвосты колышутся под водой. На головах у них венки, и поют девки, ломая руки, поют жалобно и моляще, так поют, что у сидящего в кустах плута обморочно заходится сердце и редкие волосы на макушке приподнимаются с электрическим треском, распространяя мерцание. Вот бронзовотелый бес, бородатый, широкогрудый, выпрыгнул на берег, швырнул в костер охапку валежника, пламя подпрыгнуло, а вслед за ним поползли вверх, увеличиваясь в размерах, гигантские лопухи, поднялись выше деревьев, нависли мясистыми зелеными краями. Лианы повисли, толстые, волосатые, какое-то зверье запрыгало, хохоча, а из кустов — оскаленные рожи, одна страшней другой. Вой, хохот... А бородатый бес стоит у костра, глаза его лукаво блестят, копытца притопывают, поигрывает бес концом хвоста, подбоченясь, и маленькие

белые рожки в его шевелюре светятся. Воздух вдруг качнулся, поплыл, деревья закачались к самой земле, будто трава, и не воздух это уже, а вода; рыбы какие-то плавают, и высоко-высоко наверху селезнем плавает луна, покачиваясь на волне. С закинутой головой всплыл утопленник — худой волосатый парень в футбольных трусах. Кончики черных усов колышутся в воде, а лицо бледное, печальное. Вот он уже над лесом всплыл, и несет его вверх, ноги распластав и руки, несет к черному мерцанию, в котором, будто крупинки инея на стекле, искрятся звезды. Бородатый бес бьет у костра в бубен, закинув хвост на плечо, и пляшет ему жирная бесстыжая ведьма, колышется вся, трясет грудями, и на толстых губах ее млеет, красным цветком расцветает похотливая улыбочка, полузакрытые глаза ее — как половинки луны. У-у-у! — несется по лесу. Полыхают холодным пламенем гнилые пни, тени умерших рыб заслоняют луну. Вдруг с самого дна с жалобным криком несется к висящему под луной утопленнику юная светловолосая дева. Она бьет хвостом и мчится все выше, оставляя мерцающий след, а распущенные волосы летят за ней, распугивая тени. Вот догнала, обняла, обвилась хвостом, приникла к нему, он слабо шевельнул рукой, приподнял голову, встряхнулся, просыпаясь, глянул вокруг и, наклонив рукой, прижал к груди ее голову, а вокруг них замерцал необъяснимый свет, все ярче, ярче, вот уже и лампасы на трусах ожившего утоплого видно. Обнял он тонкую спину девы, а другой вынул из-за спины меч, и оба двинулись вверх, все выше, выше, сияют оба, различные до волоска. А внизу, мотая волосьями, скачет, извивается смуглым телом ведьма, бьет в бубен, бес перебирает копытцами и хвостом бьет у себя на спине комаров. Вышел из кустов медведь, замахнулся лапой, взревел. Бес подпрыгнул и, раскалясь на лету от трения, полого, с грохотом прошелся над лесом. Весь светящийся, роняя горячие капли и черные клочья окалины, задрав горящую голову, вертикально вонзился вверх, сделал мертвую петлю, грохоча и оплывая, пронесся над самыми макушками. Ведьма уселась на ветку, прищпорила ее, понеслась за бесом вдогон. Лес вспыхнул, полетели горящие сучья, сваренные белобрюхие рыбы с опаленными хвостами поплыли вверх, туда, где метеором носился бес, скалясь и показывая ведьме язык. А из кустов вышел громадный человек с лошадиным туловищем до пояса, в распахнутой на голой груди телогрейке. В одной руке — ружье, в другой амфо-

ра, из которой плещет, вспыхивая рубином, хмельное зелье — ведро с голубичной бражкой. Получеловек-полуконь приложился к амфоре-ведру, задрал молодое конопатое лицо с шелушащимся носом, да как заржет — и-го-го! и-го-го!

...От этого дикого ржанья что-то с грохотом раскололось в небе, рухнул белый обвал, шарахнулись ночные стада, дохнуло холодом, засвистела звездная пурга, вымела лес, и все стало белым. Вот и выпал снег на зеленую траву, и зеленые ветки под белыми шапками склонились к самой земле, ударил мороз, небесную волну сковало льдом, и стало вокруг темно и беззвездно. Но бес, приплясывая от холода, швырнул в потухающий костер охапку сушняка, потекли ручьи, в небесных лугах проросла трава, деревья торопливо зазеленели, пожелтели, сбросили увядшую листву и опять зазеленели, и опять сбросили, а желтые вороха листьев поднялись к самым макушкам. Получеловек-полуконь зашевелился у костра, неверно и пьяно перебирая ногами и шаря вокруг себя ружье. Бесы и ведьмы закружились вокруг него со смехом, подталкивая ладонями, он встал, постоял, шатаясь, и прыгнул в небо, рванулся вперед, крыльями разбросав полы телогрейки и выставив поседевшую от инея грудь; мелкая звездная пыль на выгоревшей дороге Млечного пути закрутилась за ним. Сорвал он с плеча берданку, и Большая Медведица, встав на дыбы, припустила от него, вскидывая зад. Грохнул выстрел, согнулись леса, сверкающая комета понеслась к границе вселенной и, вспыхнув, пропала. И Медведица, и охотник вдруг распались сияньем, и тихий серебряный дождь пролился в черноте. А высоко-высоко опять возникла дева. Она сидела на Юпитере, кокетливо поджав хвост, расчесывала свои сверкающие волосы и пела что-то нежное, открывая алый свой рот, прикрыв глаза, а рядом с ней на неуклюжей глыбе астероида, едва уместаясь на нем косолапыми ступнями, метался по сложной орбите худущий воин в футбольных трусах с белой полосой. Восходил в зенит, пропадал и опять возникал, прямой и длинный, сияя длинным острым мечом. Метался, как пчела, прикрыв глаза бледными веками, и дева пела, расчесывая свои струящиеся волосы. Плавno двигался гребень в тонких руках, застывал вдруг, вздрагивала грудь, чуть вздрагивали полужакрытые глаза и все нежнее пела дева, будто в ожидании, будто зная, какое течение подхватит ее и понесет, то рая, то лаская. Пела, расчесывала волосы, и бледный, полу-

мертвый от любви страж метался вокруг нее, отчаянно чувствуя горлом холод отточенного лезвия. ...А грохот копыт редел и стихал, и потускнело око погонщика, и потихоньку оседала черная пыль — проредило ее, отжало к земле, и тусклая первопричина дня открылась и застыла, еще не заполненная, пустая, и тишина завязла в ней, пока не колыхнула ее эхом барабанная дробь утреннего дождя...

...Старый браконьер очнулся от холода. Очнулся и услышал душный огуречный запах мокрого папоротника. Было парно, тускло, ознобная дрожь била его. Он поднял ружье, обжегшись о настывшие, взявшиеся испариной стволы, встал и тут же, чертыхнувшись, присел — целый дождь капель обрушился с потревоженных ветвей. Вылез из кустов, закинул ружье за плечо, постоял, поудивлялся черт-те чему, вспомнил свой сон и сплюнул — приснится же погань... Надвинул на глаза козырек фуражки и, шурша в мокрой траве сапогами, пошел по берегу к своей палатке. Взгляд был тяжел — подглазья, запухнув, тянули. Позевал. Ску-у-у-учна! Закурил папироску, морщась и покашливая, понемногу очнулся, поплескал из речки водой на лицо, утерся, стараясь понять, что это его все зудит и точит? Что за притча с утра навязалась? Посмотрел, посмотрел на реку, моргая, вдруг понял и разом озлился. Где рыба? Нет рыбы, так твою в душу, в глотку, в спину и всяко!

5.

Одноухий вышел из реки перед рассветом. Он был голоден и зол. Рыба не шла, и он не мог понять, почему. Река пахла рыбой. Рыбьей слизью и рыбьей смертью. Он слышал немые крики лососей, крики гибели, река была полна ими, но рыба не шла, и это было похоже на обман, злило и распаляло Одноухого. Ему казалось, что там, в низовье, бродят сотни молодых сильных медведей, они бьют рыбу и рыба кричит. Он порывался идти туда, но не шел, хотя и злился на неведомых ему соперников — смутное предчувствие, что туда, вниз, ходить нельзя, останавливало его. Эта нелепая раздвоенность была не в его природе и бесила Одноухого, но молоточек, настукивая в голове, нашептывая ему: «Не ходи, не ходи!» действовал на него сильнее голода. Он всегда был осторожен, и это его спасало. Потому-то он и прожил так долго, пережил леса, которые прежде росли здесь, на месте мари, лосей и зайцев,

которые жили в этих лесах. Он нарушил все законы своей упрямой жизнестойкостью, вырвался из кругооборота, в котором зверей сначала убивали, а потом уж переделывали по-своему места их обитания. Круг нарушился, порвалось одно тоненькое звено во всеобщей цепи, и вся цепь, потеряв свой порядок и стройность, перепуталась каким-то диким клубком. И теперь год от года надо было наново привыкать к чудовищным изменениям того куска мира, в котором он родился, к которому привык и который не собирался бросать, что бы там ни случилось. Он видел, как умирают до срока деревья и на месте лесов возникают равнины, колышущиеся желтыми стеблями овса. По его тропам бежали машины, люди бродили по его ягодникам, деревянные столбы с проводами соглядателями пробрались в самые глухие уголки и некуда было деться от их пчелиного гула ни днем, ни ночью.

И он научился быть тенью, ходить незаметно, рыться в помойках, прятаться в бетонных трубах, проложенных под дорогами для стока воды. Он прятался в трубах, потому что больше некуда было спрятаться на голых полях, где пылали скирды соломы. Гарь и зола забивали ему ноздри, но он терпел: он знал, что его мир завоеван и поэтому привередничать не приходится. Он зимовал на старых вырубках, брошенных людьми, и каждую осень уходил на свою речку мимо деревень, поселков, дорог. Он упрямо жил жизнью медведя, хотя это было скорее пародией на нее. Чужое время, чужая жизнь, чужие запахи были вокруг него.

Как-то раз, когда он лежал у железной дороги, ожидая, когда пройдет поезд, из проносящегося вагона вдруг дохнуло запахом меведицы, он услышал ее рев, лязг клыков о прутья решетки. Вся шерсть на нем встала дыбом. Он вскочил и жадно тянул ноздрями этот запах, который несло в темноте вдоль путей громыхающим ветром колес. Но не побежал, не бросился догонять, хотя запах самки, пробившийся сквозь чадную тепловозную вонь, разбудил в нем его начало, а стоял, ожидая, когда покажутся огни заднего вагона — два широко расставленных тоскливых глаза. Потом перешел пути и побежал, стал рыскать, нервно порывая, закружил по болотам и лесам, отыскивая хоть след этого взбудоражившего запаха. Он рыскал всю ночь, а под утро, оказавшись где-то в болоте, укрытом подушкой тумана, взъерошенный, с налитыми кровью глазами, заревел, как редела там, в клетке, меведица. Этот

одинокий рев в сырой глухоте опустевшей земли достиг слуха мелиораторов, заночевавших в вагончике, и они потом долго и возбужденно обсуждали, ревел ли то динозавр или другой какой-нибудь доисторический зверь, следы которых, по слухам, еще находят в глухих уголках земли. Ни один из них даже предположить не мог, что здесь, среди канав, прорытых под дренаж, гор земли и выкорчеванных пней, может бродить медведь, затосковавший по самке.

Он знал, что где-то в горах, в дикой буреломной полутьме, куда не добрались еще трелевочные тракторы, есть старые липы с дуплами, полными дикого меда, и есть медведи, но зачем он был им — в их размеренной и простой жизни? Разве они смогли бы понять его? Он знал, как поступают с чужаками, потому что сам поступал с ними жестоко и просто.

Одноухий шел вдоль реки. Небо серело, звезды гасли одна за другой, с моря тянуло солью и йодом. Он слышал отдаленный грохот прибоя и шел, опустив башку к земле. Опять пришла в голову боль, остренький молоточек застучал под черепом, и зрение, теряя вдруг остроту, стало мешать Одноухому. Боль стучала и стучала, деревья и кусты чуть расплывались в глазах, этого не должно было быть, и Одноухий, злясь, чуть слышно ворчал.

Он вышел к вытоптанной полянке и увидел прогоревшее кострище, покрытое пеплом. Тоненькая струйка дыма поднималась от обугленной головешки вверх и терялась в листве. У костра, натянув на голову телогрейку, спал пастух. Привязанная лошадь, учуяв зверя, билась в кустах, всхрапывала, тоненько ржала.

В палатке, стоявшей рядом с «Жигулями», тихонько переговаривались люди. Пахло человеком и всем, что ему сопутствует. Запах был едкий, приторный, трусливый и наглый запах. Одноухий стоял, жмурясь, тянул его в себя, а лошадь все билась в кустах, всхрапывая и отряхивая от росы ветки. Потом в палатке кто-то закашлялся и медведь тихонько упрятился в кусты. Нашел пустую банку из-под консервов и тщательно вылизал ее. Потом лег и положил голову на лапы. Боль мучила его, не давая покоя. Он полежал, тихонько рыча, потом встал и пошел лесом вдоль реки по кустам, отыскивая съестное. Нашел мышиную нору, долго раскапывал ее, ворча и сглатывая слюну, вырыл большую яму, но ни мыши, ни запасов ее так и не нашел. Посидел на куче земли, прижав к груди передние

лапы и пошел дальше.

Наставало тяжелое, сырое утро, и птицы не пели. Он миновал ферму, постоял в зарослях, наблюдая, как толкутся в загоне коровы, по колено проваливаясь в жидкую, перемешанную с навозом грязь, обошел ферму вокруг и свернул от реки к овсам. Когда рассвело, он был уже далеко от реки, у грунтовой дороги, где кончался лес и начиналось большое поле овса. Далеко, на противоположном его конце, виднелись скирды соломы, стояли комбайны, слышались хрипловатые спросонья голоса и лязгало железо. Одноухий, идя вдоль кромки леса, заходил в овсы, ел и шел дальше, посматривая на красные громады комбайнов.

Сизая туманная пленка, плывущая над лесом, разорвалась, и голубым клочком проглянуло небо. Тучи шли в три слоя. По-над самыми верхушками плыла сырая мгла, постепенно редела, застревая клочьями в ветках деревьев, иссякала в них, осыпаясь на лес мелкой мглой. Выше громоздились темные, разбухшие от влаги облака, а еще выше, подпирая небесную голубизну, плыли перьями гигантских птиц редкие белые клочья. Там шло непрерывающееся движение, и солнце, уже взошедшее, нет-нет простреливало весь этот слоеный пирог, и столбы света падали на землю то там, то здесь в образовавшиеся прорехи. Облака редели, солнце высверкивало все чаще, потом с моря задул сильный верховой ветер, всю облачность смяло, понесло, и теперь в небе плыли только высокие белые клочья. Солнце то появлялось, то пропадало, и сразу начался день, нарушая древний порядок перемены состояний. Утро осталось в тени, под мокрой травой, не успев кончиться. В лесу капель опадала с ветвей каскадами. Ветер тряс траву, стремясь исправить то, с чем не могло справиться прохладное солнце. Но сырой лес шевелился вяло. Было сыро, зябко, а в траве за ночь обозначилось еще больше пожелтевших прядей. Только к обеду нагретая земля задышала, опять вошло над травой марево, и двинулись в свой бесконечный путь черные стволы горельника.

А Одноухий шел, шел, пересекая ручьи и болотца, и скоро вышел к морю.

Вдоль побережья тянулось болото с голубичником, он попасся и по осыпающемуся склону взобрался на песчаный холм с выбеленной ветрами корягой на верхушке. От моря сильно дуло и трепало Одноухому бороду. Он стоял, жмурясь, смотрел на бесконечное пространство, в

котором не было постоянства, тер лапой нос, который щекотало острым причудливым запахом, потом спустился и пошел по вылизанному волнами песку, роясь в кучах водорослей, выброшенных недавним штормом. Он подошел было к самому накату, любопытствуя, но тут пенная волна схватила его за лапы, он рывкнул и отскочил, взъерошив на загривке шерсть и оскалив клыки. Успокоился и опять пошел, опасливо поглядывая на море и угрожающе порыкивая на него. Нашел маленькую, уже отвердевшую камбалу и съел ее. Небольшой краб вцепился клешней в шерсть под носом Одноухого, он смахнул его лапой, раздавил и вылизал панцирь, ощутив слабо и мимолетно, как воспоминание, сладкий и нежный вкус крабьего мяса.

Он никогда не видел моря, которое шумело и прыгало на берег зверем, дурачась и играя, никогда еще не заходил так далеко от речки, но, в общем-то, он его не боялся. Отчасти стоило его опасаться и не приближаться слишком — мало ли что может оно натворить с тобой, играя. Но бояться его не надо было, Одноухий это чувствовал. Он слышал непривычный и резкий запах моря, в котором не было и намека на подлость, почему-то знал, что зла от него нет, как нет зла от леса и реки. Ничто не было опасным само по себе, даже машины, от которых он прятался. Он чувствовал, что зло возникает хитро и непонятно отчего, в нем нет постоянства и нужно быть всегда начеку. Он просто знал это — и все.

На мгновение, когда он смотрел, как качается на волне, то поднимаясь, то исчезая, стеклянный шар, какими рыбаки обозначают сети, в нем мелькнуло отдаленное воспоминание... Лед пролива, ночь, медведица ведет его к невидимому берегу острова с материка, и вдруг — треск, черная трещина на присыпанном снегом льду, начинается подвижка, со всех сторон лед колется, глыбы налезают друг на друга, его опрокидывает в ледяную соленую воду и сильно бьет по голове, он кричит, барахтаясь, медведица валится в полынью, вышвыривает его на лед и, подгоняя жестокими оплеухами, гонит вперед... Воспоминание мелькнуло искрой и погасло. Он пожевал длинную плеть морской капусты, высоко задирая башку, потаскал по берегу дырявый сапог, потом ему надоело, он ушел от ветра и лег за песчаный надув.

Стада песчинок вскачь неслись по ветру, шурша. Он следил за ними тусклым взглядом, не ожидая ничего нового. Ничего нового не было в этом мире, хотя жизнь и меня-

лась день ото дня. Боль и беда, голод и радость шли по пятам, и никакая новизна не могла отпугнуть их, и не стоило удивляться морю, которого он никогда не видел. Море тоже было всегда. Нескончаемое повторение одного и того же в непонятном разнообразии перемен ничего не меняет.

Одноухий лежал, положив голову на лапы, прикрыв глаза, и чувствовал, как к нему приходит покой. Великий покой. Он легок, в нем исчезает страх, раздражение от бесконечных требований ненасытного брюха, и великое терпение, и злость — все. Покой приходит и не трясет настырно, не кричит в ухо, что опять надо вставать и идти, идти, даже если нет сил, он окутывает лаской, тихим теплом, и вдруг приходит понимание, что ничего не нужно. Совсем ничего. Зачем? Пусть другой, заняв освободившееся место, живет и радуется, а потом мучится, не в силах угнаться за тем, что уходит, и пусть мечется, спотыкается и мотает из себя жилы в погоне за вечной весной, не зная или не желая знать, что вечная весна — это цепь весен, сцепленных в единое целое. Ничего этого не нужно, когда приходит покой.

Одноухому было хорошо, но потом его опять настигла боль и рывком вернула назад. Боль мешала лежать, но Одноухий упрямо лежал, ждал, когда она откатит, нетерпеливо ждал, чтобы боль ушла и опять пришел покой, но она не уходила и грызла голову мышью. Он вскочил и опять пошел бродить, ворочать плавник, разгребать водоросли и так, на ходу, было легче. Боль забывалась и понемногу откатывала. Одноухий не знал, зачем все это нужно, он ничего не хотел, но кто-то жестокий и неумолимый толкал, заставлял его, и Одноухий делал то, что должен был делать, постепенно смиряясь. Бешеная ярость первых минут пробуждения скоро иссякла в нем, глаза потухли, он успокоился, погрузился в привычную апатию, когда что-то в нем спало, а что-то двигалось и что-то там делало. Он брел то туда, то сюда, взбирался на песчаные холмы, ел голубику и иногда, на ходу, забывал, куда и зачем он идет. Стоял, вспоминал и, ничего не придумав, начинал яростно чесаться.

Он уходил от моря той же дорогой, какой пришел, избегая возвращаться на след. Скоро опять вышел на овсяное поле и увидел двух полуголых комбайнеров, которые сидели на застеленной брезентом копешке и обедали, о чем-то переговариваясь и смеясь. Плотные прозрачные капсулы въедливых запахов солярки, пота и табака висели над

ними. Один из комбайнеров, что-то рассказывая смеющемуся товарищу, надкусил огурец, сплюнул и, скривившись от горечи, отшвырнул его в кусты. Огурец прошуршал в ветвях и, упав рядом с Одноухим, сочно шмякнув о корень, разбился, рассыпав по земле студенистые потроха и длинные бледные семечки. Медведь дернулся от неожиданности, потревожил куст, потом, не отрывая глаз от комбайнеров, нагнулся и осторожно полизал семена языком.

— Ты глянь, куда забрела! — глядя в кусты на шум и отставив кружку с молоком, сказал комбайнер. — Опять поле вытравят, кто за ними смотрит, хотел бы я знать.

Он швырнул в кусты корку хлеба и засвистел.

— Ты на кого это? — спросил второй.

— Да корова в кустах шарахается... Эй, эй! А ну пошла!

Оба закричали, заулюлюкали, потом смолкли, всматриваясь в заросли. Одноухий затаился в кустах. Дырочки ноздрей в носу совсем сжались, он почти не дышал.

Комбайнеры покричали, послушали и опять принялись за обед и беседу, вспоминая что-то общее и чему-то своему хохоча. Потом один прилег на копну, похлопывая себя ладонью по животу и позевывая, а второй закурил, скрутив из клочка газеты самокрутку.

Вдруг он встал на копне, напряженно всматриваясь в кусты.

— Ты что? — спросил его товарищ.

— Слушай, да там медведь, по-моему! — сказал тот настороженно, продолжая всматриваться в заросли.

— Может, тигр? — равнодушно спросил второй.

— Да нет. Голова вроде мелькнула медвежья...

— Может, крокодил? — спросил второй, зевнув.

— Да иди ты! — рассердился комбайнер и сел, а товарищ его довольно захохотал.

— Ну ладно, — сказал первый, посмотрев на часы, и плевком тщательно загасил окурок, — кончай перекур!

Они собрали остатки еды и кружки в холщовую сумку, свернули брезент, и качающиеся красные машины двинулись вперед, грохоча и оставляя за собой полосы короткой стерни.

Когда комбайны отошли достаточно далеко, Одноухий подошел к копешке, понюхал вокруг нее, нашел огрызок хлеба, съел и двинулся к лесу.

На другом конце поля комбайнер вдруг остановил машину, выскочил из кабины, догнал комбайн товарища и на

бегу что-то неслышно, в грохоте, закричал, махая рукой. Тот ничего не понял, потом посмотрел в сторону, куда показывал напарник, и увидел, как большой медведь неторопливо пересекает золотистый сжатый клин, повернув к ним голову, на которой торчал черный квадратик уха.

Комбайнер заглушил двигатель, выпрыгнул из кабины и вслед за товарищем засвистел и заулюлюкал. Медведь припустил по стерне, высоко вскидывая зад. И вдруг пропал. Казалось, он канул в закатном солнце, которое висело над лесом, окруженное нимбом, растворился в нем.

Комбайнер стоял и улыбался, про себя дивясь и чего-то жалея, козырьком приложив к бровям ладонь.

6.

Старый кореец семенил по тропинке меж вечерних теней, раздвигая палкой папоротники, поныривая головой в соломенной шляпе, будто кому-то кланяясь, останавливался, вглядывался в траву, мелко перебирал ногами и опять семенил, худой, как былинка, и короб на согбенной спине старика светился в сгущающихся сумерках мягким благостным светом. Пак выглядывал из-под него, по-черепашьи вытягивая тонкую жилистую шею, и опять семенил, поныривая тощей седой бороденкой.

Он неделями жил в лесу, в старой хибаре, сбитой из ящичных досок, кусков картона и жести, и выбирался в город только за рисом, чаем и табаком. Он знал толк в травах и жизнь его была заполнена отыскиванием, сушкой и развешиванием пучков по стенам хибары. Он знал, что растения могут пробудить в человеке безумие и укротить самую страшную болезнь, он настолько сжился с ними, что начал наделять их человеческими качествами, и иногда ему казалось, что он может различать их по голосам в полуденном хоре, когда под горячим ветром трава начинает петь.

У старика в городе были большой дом, большой огород, сплошь занятый теплицами и парниками, большая семья, в которой больше всего ценился труд и умение извлечь из него наибольшую выгоду. С ранней весны в теплицах зрели огурцы, лук и редис. Каждое утро, еще до солнца, старший сын старика грузил в багажник легковой машины и на сиденья тонкие ящички с упругими вымытыми овощами, словно покрытыми росой, и отвозил на базар, где ящич-

ки сгружались у прилавка, за который становилась старикова внучка или ее мать.

Сам Пак тоже любил базар, и было время, когда он сидел рядом с внучкой, разложив на прилавке пучки трав, расставив бутылки и банки с настоями. Потом санитарный врач запретил ему продавать травы, и старик приносил на базар свернутые в жгут лианы лимонника и затейливые корешки, которые касание умелого ножа превращало в загадочные, фантастические существа.

У него редко что покупали, но смысл был в другом. Можно было сидеть, наблюдая, как гомонит и тасуется толпа у прилавков, где торгуют свежей рыбой, чилимами, редькой, красной от перца, мелко нарубленной, в которой видны кусочки красной рыбы, овощами, семечками, сухими грибами, вениками. Как размахивает руками над грудой грецких орехов и миндаля носатый грузин в кепке величинной с аэродром. Как достают из детских колясок породистых и беспородных щенков, переворачивая вверх брюхом, чтобы покупатель мог их почесать ради собственного удовольствия. Как строго, заложив руки за спину, прохаживается милиционер, пронзительным взглядом окидывая прилавки, и, сунув пальцы в рот, ходят за ним по пятам замурзанные деревенские пацаны, круглыми глазами разглядывая сморщенную пистолетную кобуру. Как, подобрав юбки, под общий хохот гонится за сбежавшим поросенком толстая старуха, размахивая хворостиной. Как в темных углах быют по рукам подозрительные личности и тут же распивают, скрепляя сделку и торопливо закусывая сморщенным соленым огурцом, купленным на ближайшем прилавке...

Он сидел, покуривая трубочку, с виду невозмутимый, весь высохший до глянцевого свечения кости сквозь загорелую кожу, и думал, что вот это бесконечное человеческое мельтешение вовсе не гарантирует вечной жизни одному человеку. Что жизнь похожа на базар, только один приходит, а другой уходит и никто никого не замечает. Кто-то думает, что жизнь — это хор, где каждый тянет своим голосом, стараясь попасть песне в лад, но он-то видел, что нет никакого хора, каждый кричит сам по себе и старается перекричать другого, продать подороже и купить подешевле. И все орут друг на друга, нисколько не обижаясь и хохочут, словно точно зная, что ничего не изменишь, а потому надо веселиться, хлопать друг друга по плечам, заниматься скуки ради мелким надувательством, а если и

петь хором, то уж под настроение, когда носы сияют, как светофоры, а из глаз вышибает хмельную слезу.

Иногда дети уводили его, и он не противился им, но потом вдруг опять оказывался на базаре. И, насытившись толкотней, мельтешением, шумом, утолив настоявшуюся в одиночестве человеческую тоску по людям, опять надевал короб и уходил в лес, в хибару, пропахшую тонким тлением ломких листочков шалфея и тысячелистника, которые меняли вкус жизни, словно напоминая о бесконечном тлении и бесконечной жизни, которая в её одной понятном поиске рыскала из тела в тело, из предмета в предмет.

...В полумраке Пак не сразу заметил Одноухого, идущего ему навстречу по тропе. Высокая трава и нависающие ветви кустарников помешали ему разглядеть его сразу. Но тут взошла луна, траву облило голубоватым мерцанием, и в десяти метрах от себя старый кореец увидел колышущуюся над тропой широкую темную спину, переливающуюся лоснящимся блеском. Могучие мышцы перекатывались под шкурой, луна гуляла волнами по спине Одноухого, и эта двигавшаяся над тропой спина, существовавшая словно бы отдельно от невидимых лап и опущенной головы, очень напугала Пака. Он вздрогнул, остановившись, пригляделся и увидел стоящего на тропе медведя. Медведь смотрел на него, и желтоватый свет то вспыхивал в маленьких медвежьих глазках, то пропадал. Одноухий шумно понюхал воздух, и Пак, окончательно поняв, что это медведь, сразу успокоился. Они стояли и смотрели друг на друга.

«Какой ты старый, — думал Пак, — ты даже не учуял меня. Но, может быть, я вообще не пахну? Сначала портится зрение, потом слух, потом и запах у человека пропадает. Но, может быть, хотя бы папиросы у меня в кармане пахнут? Значит, ты совсем старый, если даже табака не учуял. А что ты будешь делать теперь? Ты столько прятался, никто тебя не видел, даже я, такой ты осторожный...».

Одноухий глухо заворчал, переступая.

«Рычи, рычи. Ты меня этим не испугаешь. Да и зачем тебе старик, который даже не пахнет? Мы столько лет ходили рядом, и ты не убьешь меня».

Одноухий все переступал, катая в горле клокотанье, казалось, что это голыши подпрыгивают и стучаются друг от друга в кипящей воде. Посветлело, тени отделились от

деревьев и легли поперек тропы. Пак увидел в желтых глазах медведя боль и тоску.

«Наверно, ты болен, ведь все старики болеют, и если бы ты мог говорить, я спросил бы у тебя, зачем ты так долго живешь. Какая может быть радость у старых зверей, когда притупляется зрение и лапы теряют быстроту, — ведь у них нет даже телевизора. Ты поступаешь глупо, приходя сюда. В тебя никто не верит, но тебя могут убить, если встретят, с перепугу, или просто ради забавы, или для того, чтобы поверить. Наверно, ты привык к этим местам, тебе не хочется менять их, да разве кому объяснишь? Мы оба старые, нам недолго осталось. Может быть, когда-нибудь мы встретимся, но уже не узнаем друг друга, потому что память исчезает в первую очередь и это обидно, но так, наверно, легче. Я не хотел бы, чтобы тебя убили, чтобы ты мучился, но что я могу поделать? И лучше бы тебе повернуть обратно. Я ухожу, я пропускаю тебя, это твоя тропа, хотя мы и ходим по ней по очереди».

Пак, не спуская с медведя глаз, задом упятился в кусты, Одноухий, повернув к нему голову, медленно прошел мимо и колыхнувшиеся кусты скрыли его.

«Тебя убьют, — сказал ему Пак про себя, глядя, как все дальше колышутся раздвигаемые медвежьей спиной кусты, — тебя убьют из ружья...».

...И опять бежала в реке луна, и Одноухий стоял в реке, задрав башку. Вода капала с его мокрой бороды, сдавленное рычание клокотало и глохло в горле. Боль, ярость и недоумение обручем стискивали его голову, ему хотелось реветь, бежать, выворачивать пни, забраться в коровий загон, переломать хребты, передушить, рвать в кровь. Ему было невыносимо плохо, Одноухому, и рыба не шла. Не шла! Что-то сдвинулось в этом помешанном, мире, который он перестал понимать. Что-то сдвинулось, оттого-то так невыносимо клюют и клюют в голове молоточки, оттого-то не идет рыба и исчезают леса. Оттого вода устает течь, мелеют реки, ветер бродит как попало и в июне идет снег. А небо с каждым днем все выше, до него не достать. И голод, и боль, и страх — все это ничто перед разрушенным порядком, где ему, Одноухому, нет места.

Он вышел из реки, пересек лес и вышел к мари. Она казалась черной и плоской, заключенной в огромную сферу ночного неба, и там, в этой сфере, нарастал гул. Гул все рос и рос, хотя ветра не было, и Одноухий почувствовал, что гул этот проникает в него, делая его тело легким и как

бы пустым. Где-то на краю мари, прижатые к земле огромностью бесконечно длящейся вверх черноты, виднелись огоньки рыбзавода, и Одноухий пошел к ним.

Старый браконьер проснулся в своей палатке словно от толчка и испуганно сел, схватившись за ружье и замерев. Снаружи, за тонкими стенками палатки, было тихо. Молодой напарник чуть слышно всхрапывал и мычал во сне. Пожилой сидел, глядя в темноту расширенными глазами, и едва не трясся от беспричинного, непонятного страха. Ощущение было сложное, дикое какое-то. Ему вдруг показалось, что там, за брезентом... ничего нет! Река плеснула, и он, разозлившись на себя, отсунул схваченное было ружье и лег, завозился сердито, устраиваясь на жестком ложе. Сон не шел. Он прикрыл глаза, полежал. Все равно не спалось, сильно ныли руки. Сейчас, когда он лежал с закрытыми глазами, ему казалось, что они у него — как две здоровенные сковородки, они и сейчас все зудили, шевелились. Такие уж они у него были, неугомонные, с войны, когда он еще пацаном впрягся в воз многодетной семьи за старшего. Как начал тогда хватать все, что можно было, так уже не мог остановиться. Он подумал: «Они меня доконают». Мысль поразила, потом заинтересовала, он подумал: «Да уж, видать, я и там не смогу без работы. Как же я вот так просто буду лежать, если с детства лежать не приучен?» Он будто бы в шутку сложил руки на груди, и они легли тяжело и покойно, будто и впрямь успокоились уже, а он опять испугался непонятно чего. Молодой все ворочался, мычал, все ловил и никак не мог поймать там, во сне, убегающую от него девицу, а пожилой немо и сухо заплакал, бессильно, без злости и жалости, а руки лежали у него на груди, и корчились, ныли, орали от боли и все двигались, шевелились, тискались, как два ослепших зверя.

Рыженькая остроносая Оля лежала в «Жигулях», натянув до подбородка одеяло, и через окошко смотрела на луну. Она слышала сонное дыхание Михаила, и ей плакать хотелось от обиды. Она заставила себя досчитать до ста, успокоилась, а потом тихонько повернулась к нему, хотела позвать его, но вдруг струсила. Ей было и странно, и сладко, оттого что она знала: он не спит из-за нее, а только притворяется, и оттого, что она знала: сейчас позовет его,

и что у нее огромная над ним власть, смысл которой она чувствовала, но плохо понимала. Она все трусила, откладывала, казалось, лежать так можно вечно, откладывая, отталкивая мгновение, когда надо сказать.

— Миша... — сказала она и сама испугалась своего голоса.

Он сразу обернулся к ней, воспросительно глядя, и она опять трусила и, не зная, что делать, стараясь только, чтобы он не смотрел, притиснула его голову к груди, быстро спрашивая: «Ты меня любишь, Мишка, правда? А, Миш?» Она знала: что бы он ни сказал — все это ровным счетом ничего не значило, но хотелось слова, оно было нужно, как себе самой разрешение, и она себя убеждала, что если он вдруг скажет: «Нет», — значит, все само собой и кончится, и хотела, чтоб кончилось, и не представляла, как она тогда будет жить...

Одноухий стоял на берегу и слушал, как плещется в сети рыба. Сеть тянулась через всю реку, а на противоположном берегу в длинном бараке горел свет, ходили и говорили люди, стучал дизель электростанции на колесах. Там, в цеху, женщины в резиновых сапогах и фартуках пластали кету, выпускали икру в ванны, укладывали рыбу в бочки, пересыпая солью, и еще целые горы кеты лежали перед входом в барак, ее носили носилками к разделочным столам. Чуть поодаль горел костер, и у него грелись рыбаки.

Одноухий сошел в воду. Дно тут сразу у берега было глубоким, и он поплыл к сети, возле которой рыбины стояли плотно, одна к одной, чуть шевеля хвостами. Он схватил зубами некрупного самца, тут же упустил и схватил другого. Рыбины били его в бока, плескали хвостами под самым носом. Течением сеть сносило на него, и он чувствовал, как она колышется в воде. Густой запах рыбы стоял над рекой. Сеть мешала, Одноухий неуклюже ворочался в воде, окунался, ловя пастью плещущиеся хвосты, и почувствовал, что сеть держит задние лапы. Он дернулся, забил лапами, потом рванулся встречь течению, пытаясь перебраться через сеть, но она держала крепко. Он опять окунулся с головой, вынырнул, заревел и хватил ее лапой. И опять окунулся, хлебнув воды. Дикий страх охватил Одноухого. Он забился, в клочья пластая дель. На берегу замелькали огни фонарей, слышались встревоженные го-

лоса. Сеть вздрогнула, и Одноухий увидел, что ее края в шарах поплавков расходятся в стороны, как створки ворот, и, последним усилием стряхнув с себя клубок рваной, сбившейся дели, огляделся, задрав над водой голову. Течение несло его, он слышал, как разом заплескали сотни хвостов и вся масса косяка, взрыбив воду, помчалась против течения.

Грохнул выстрел — и он, наполовину высунувшись из воды, что есть силы заработал лапами, выскочил на берег и побежал к темной кромке кустарника. Грохнуло еще раз, мелькнуло над водой длинной красной вспышкой, просвистело и вдруг сильно ударило Одноухого в бок. Удар был так силен, что он запнулся на бегу, упал на затрещавший куст, но тут же вскочил и что есть силы припустил к кустам. Что-то страшное сидело у него в боку, рождая невыносимую боль, и он заревел, не в силах терпеть, с треском вломился в кусты и побежал, потом резко повернул, сделал петлю и, выйдя к своему следу, лег.

Он чувствовал во рту вкус собственной крови и глотал ее, давясь и захлебываясь, жмурясь от невыносимой боли и бросившейся в голову, помутившей рассудок ярости. Он лежал, напряженно вздрагивая, подбирая зад, готовясь к яростному прыжку, когда они, те, пойдут за ним, чтобы добить, лежал, преодолевая раздирающую внутренности боль, которая разрасталась и жгла. Лежал и ждал голосов, готовясь прыгнуть и убивать. Никто не шел за ним, никто не бежал. Он глотал и глотал свою кровь, слыша крики рыбаков на реке, пытающихся выбрать порванную сеть, сквозь которую валом валила кета, ждал.

Но ожидать и терпеть стало невыносимо, и он, про все забыв, заревел и опять побежал, натыкаясь на кусты, потому что лапы почему-то плохо слушались его. Маленький яростный зверь, забравшись к нему внутрь, терзал внутренности, рвал их острыми безжалостными зубами. Одноухий закружился, заревел, пытаясь схватить зубами рану, задавить впившегося зверька. Упал, вскочил, озираясь, и опять закружил, заревел...

Рыба плотными косяками мчалась по реке, и казалось, что река потекла вспять. Рыбины выпрыгивали из воды, будто пытаясь долететь до места назначения по воздуху. Кета шла валом, впритык, мимо суеты рыбзавода, где пылали костры и стояла бестолковая ругань, мимо кустов,

где ревел Одноухий, мимо палаток, шла в едином и мощном порыве, шла к цели, ради которой длилась вся ее короткая жизнь с сотнями опасностей и препятствий, которые теперь не имели значения. Выбрав место, самка в лихорадочной спешке била хвостом по гальке, отшвыривая ее, роняя и в клочья разбивая хвост. Самец помогал ей. Когда гнездо было готово, самка застывала над ним, дрожа, а самец метался рядом, описывая вокруг нее круги. Самка напрягалась и красной струйкой выпускала в гнездо икру, самец подлетал к ней, изгибаясь, выпускал белое облачко молока. Обе рыбыны опять принимались бить хвостами, забрасывая гнездо галькой, а потом бесцельно метались взад и вперед в лихорадке непрошедшего возбуждения. Река наполнилась криками рыбьей страсти и вдруг запарила, и туман, вставший над водой, обозначил ее извилистое течение.

Одноухий умирал трудно. Все плыло и качалось, он брел, падал и опять поднимался. И опять падал, рычал, вставал, пошатываясь, и смысл этой борьбы был единственным смыслом, который он воспринимал. Надо встать. И он упрямо поднимал себя, уже не помня и не сознавая, для чего это. Вставал и шел.

Он вышел на небольшую полянку и там лег, но тут же опять встал. Его трудно, с кровью, вырвало, потом еще раз. Он лег в кровавую лужу, тяжело дыша, оперся на передние лапы и сел, покачиваясь и опустив башку к самой земле.

И тут озноб затряс Одноухого, вся шерсть на нем поднялась дыбом, он зарычал, вскинув голову и оцепенев, увидел над краем леса в сереющем предутреннем небе голубой призрак звезды. Она была одна во всем небе и смотрела на него жестоким драконовым глазом, истаявая, исчезая. И словно бы щурилась, целясь в него, Одноухого. И он вскочил ошетиненный, готовясь принять бой! И рухнул на землю...

...А рыба все шла и шла, вкатывалась в реку с грохочущей волной прибоя, перла, неслась. Навстречу косякам, вяло шевеля хвостами, сплывали по течению отставшие рыбыны, и мощное встречное движение отшвыривало их на берег. По берегам реки вырастали валы мертвой кеты. Пошли в рост лопухи на неслыханном удобрении и, вмиг вымахав выше деревьев, шатром сомкнулись над кипящей

от скоротечной рыбьей страсти рекой. Распустились цветы, пролился дождь и запели птицы.

Проснулся в своей хибаре старый кореец и долго кашлял, сидя на деревянных нарах, поджав под себя ноги.

Тихонько дышала в машине, ткнувшись в щеку Михаила, спящая Олечка.

Пожилой браконьер лежал в палатке, благостный, как покойник, слушая стоны и храп своего молодого напарника.

А рыба все шла, шла, шла, торопясь сделать свое дело до рассвета и первых морозов.

И никто не видел, как над кустами, где лежал, остывая, Одноухий, тихо поднялось маленькое белое облачко, и поплыло вверх, все выше, выше, — туда, где не летают птицы и не идут дожди и только вечный холодный ветер мчится, огибая теплый бок планеты, торопясь за светлой полосой бегущего дня...